





**Александр
ГРИН**



**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
РОМАНОВ И ПОВЕСТЕЙ
В ОДНОМ ТОМЕ**



Издательство
АЛЬФА-КНИГА
Москва
2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-я5
Г74

Серия основана
в 2007 году

Грин А. С.

Г74 Полное собрание романов и повестей в одном томе. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017. — 1020 с.: ил. — (Полное собрание в одном томе).

ISBN 978-5-9922-2555-6

В одном томе собраны все романы и повести известного русского писателя-неоромантика Александра Степановича Грина (1880—1932).

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-я5

ISBN 978-5-9922-2555-6

© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2017

АЛЫЕ ПАРУСА

Нине Николаевне Грин подносит и посвящает

Автор

ПБГ, 23 ноября 1922 г.

I ПРЕДСКАЗАНИЕ

Лонгрэн, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу.

Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кровати — нового предмета в маленьком доме Лонгрэна — стояла взволнованная соседка.

— Три месяца я ходила за нею, старик, — сказала она, — посмотри на свою дочь.

Мертвея, Лонгрэн наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.

— Когда умерла Мери? — спросил он.

Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрэн узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы — будь теперь они все вместе, втроем — был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.

Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгрэном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.

Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.

— У нас в доме нет даже крошки съестного, — сказала она соседке. — Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.

В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисс к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».

Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колотить вам глаза, — сказала она, — и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, — прибавила она, — без такого несмышленьша скучно.

Лонгрэн поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрэн решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.

Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки — искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов — словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрэн добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» — на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.

Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легко холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена — игрушки — менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутитель-

нее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе — Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство рашения девочки.

Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, поглядывая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни — дикие ревостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.

Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.

Рыбачьи лодки, повищенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.

Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрэн выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, — так силен был его ровный пробег, — давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.

В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, курая, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очердную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в

сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.

— Лонгрэн! — закричал смертельно перепуганный Меннерс. — Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!

Лонгрэн молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.

— Лонгрэн! — зывал Меннерс. — Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!

Но Лонгрэн не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрэн только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрэн, — донеслось к нему глухо, как с крыши — сидящему внутри дома, — спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрэн крикнул:

— Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!

Тогда крики умолкли, и Лонгрэн пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.

— Спи, милая, — сказал он, — до утра еще далеко.

— Что ты делаешь?

— Черную игрушку я сделал, Ассоль, — спи!

На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран парходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока

восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, — им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен *молчал*. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен *стоял*; стоял неподвижно, строго и тихо, как *судья*, выказав глубокое презрение к Меннерсу — большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они — поступил *внушительно, непонятно* и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрена утопил Меннерс!» Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.

Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз — навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания.

Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.

К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями *общественного мнения*; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: — «Скажи, почему нас не любят?» — «Э, Ассоль, — говорил Лонгрен, — разве они умеют любить? Надо уметь

любить, а этого-то они не могут». — «Как это — *уметь?*» — «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.

Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, оставив банки с клеем, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, — забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, спрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях — лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, — диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрэн, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность — в образы своей фантазии. Тут появлялась и *тигровая кошка*, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты — словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрэн также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладках, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. — «Ну, говори еще», — просила Ассоль, когда Лонгрэн, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.

Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрэн обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. — «Эх, вы, — говорил Лонгрэн, — да я неделю сидел над этим ботом. — Бот был пятивершковый. — Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы. Вся домовую работу Лонгрэн исполнял сам: колот дрова, носил воду, топил печь, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с

собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисс лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрэн отпустил ее в город.

Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрэн сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают — игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала для паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, размышляла Ассоль, — она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. — «Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: — Я приехал... приехал... приехал я из Китая. — А что ты привез? — Что привез, о том не скажу. — Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзинку». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта — далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», — подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: — «Ах, господи! Ведь случись же...» — Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.

Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листья к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-ф-у-уу», побежала изо всех сил.

В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.

Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Серые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком — выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вялопрозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.

— Теперь отдай мне, — несмело сказала девочка. — Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?

Эгль поднял голову, уронив яхту, — так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полуоткрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.

— Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, — сказал Эгль, поглядывая то на девочку, то на яхту. — Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?

— Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?

— У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом — между моей левой пяткой и оконечностью палки. — Он стукнул тростью. — Как зовут тебя, крошка?

— Ассоль, — сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.

— Хорошо, — продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. — Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называясь ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая, как есть. Я, милая, поэт в душе — хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?

— Лодочки, — сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, — потом парход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.

— Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала — ведь так?

— Ты разве видел? — с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. — Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?

— Я это знал.

— А как же?

— Потому что я — самый главный волшебник.

Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь — девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.

— Тебе нечего бояться меня, — серьезно сказал он. — Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. — Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, — решил он. — Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет». — Ну-ка, — продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству — следствие всегдашней работы — было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), — ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне — откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова.

Подумав, он продолжал так:

— Не знаю, сколько пройдет лет, — только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там. Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. — «Зачем вы приехали? Кого вы ищите?» — спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. — «Здравствуй, Ассоль! — скажет он. — Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спускаются с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.

— Это все мне? — тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. — Может быть, он уже пришел... тот корабль?

— Не так скоро, — возразил Эгль, — сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? — это *будет*, и кончено. Что бы ты тогда сделала?

— Я? — Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. — Я бы его любила, — поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: — если он не дерется.

— Нет, не будет драться, — сказал волшебник, таинственно подмигнув, — не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!

Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.

— Ну, вот... — сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. — Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник...

Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и — в обратном порядке — погоня за упущенной яхтой.

Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая:

— Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение — и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала:

— Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?

БЛИСТАЮЩИЙ МИР

«Это — там...»
Свифт

Часть I ОПРОКИНУТАЯ АРЕНА

I

Семь дней пестрая суматоха афиш возвещала городским жителям о необыкновенном выступлении в цирке «Солейль» «Человека Двойной Звезды»; еще никогда не говорилось так много о вещах подобного рода в веселящихся гостиных, салонах, за кулисами театра, в ресторанах, пивных и кухнях. Действительно, цирковое искусство еще никогда не обещало так много, — не залучало волнения в область любопытства, как теперь. Даже атлетическая борьба — любимое развлечение выродившихся духовных наследников Нерона и Гелиогабала — отошла на второй план, хотя уже приехали и гуляли напоказ по бульварам зверские туши Грепера и Нуара — негра из африканской Либерии, — раскуривая толстейшие регалии, на удивление и сердечный трепет зрелых, но пылких дам. Даже потускнел знаменитый силач-жонглер Мирэй, бросавший в воздух фейерверк светящихся гирь. Короче говоря, цирк «Солейль» обещал *истинно-небывалое*. Поставив с минуту перед афишей, мы полнее всяких примеров и сравнений усвоим впечатление, производимое ею на толпу. Что же там напечатано?

«В среду, — говорила афиша, — 23 июня 1913 года состоятся первое, единственное и последнее выступление ранее никогда нигде не выступавшего, поразительного, небывалого, исключительного феномена, именующего себя «Человеком Двойной Звезды».

Не имеющий веса
Летающий бег
Чудесный полет

«Настоящее парение в воздухе, которое будет исполнено без помощи скрытых механических средств и каких бы то ни было приспособлений.

Человек Двойной Звезды остается висеть в воздухе до 3-х секунд полного времени.

Человек Двойной Звезды — величайшая научная загадка нашего века.

Билеты, ввиду исключительности и неповторимости зрелища, будут продаваться с 19-го по день представления; цены утроены».

Агассиц, директор цирка «Солейль», дал журналистам следующие объяснения. Несколько дней назад к нему пришел неизвестный человек; даже изощренный глаз такого пройдохи, как Агассиц, не выцарапал из краткого свидания с ним ничего, кладущего штамп. На визитной карточке посетителя стояло: Э. Д. — только; ни адреса, ни профессии...

Говоря так, Агассиц принял вид человека, которому известно гораздо более, чем о том можно подумать, но сдержанного в силу важных причин. Он сказал:

— Я видел несомненно образованного и богатого человека, чуждого цирковой среде. Я не делаю тайны из того, что наблюдал в нем, но... да, он — редкость даже и для меня, испытавшего за тридцать лет немало. У нас он не служит. Он ничего не требовал, ничего не просил. Я ничего не знаю о нем. Его адрес мне неизвестен. Не было смысла допытываться чего-либо в этом направлении, так как одно-единственное его выступление не связано ни с его прошлым, ни с личностью. Нам это не нужно. Однако «Солейль» стоит и будет стоять на высоте, поэтому я не мог выпустить такую редкую птицу. Он предложил больше, чем дал бы сам Барнум, воскреснув и явившись сюда со всеми своими зверями.

Его предложение таково: он выступит перед публикой один раз; действительно один раз, ни больше, ни меньше, — без гонорара, без угощения, без всякого иного вознаграждения. — Эти три «без» Агассица свистнули солидно и вкусно. — Я предлагал то и то, но он отказался.

По его просьбе, я сел в углу, чтобы не помешать упражнению. Он отошел к двери, подмигнул таинственно и лукаво, а затем, — без прыжка, без всякого видимого усилия, плавно отделяясь в воздух, двинулся через стол, задержавшись над ним, — над этой вот самой чернильницей, — не менее двух секунд, после чего неслышно, без сотрясения, его ноги вновь коснулись земли. Это было так странно, что я вздрогнул, но он остался спокоен, как клоун Додди после того, как его повертит в зубах с трапеции Эрнст Вит. — «Вот все, что я умею, — сказал он, когда мы уселись опять, — но это я повторю несколько раз, с разбега и с места. Возможно, что я буду в ударе. Тогда публика увидит больше. Но за это поручиться нельзя».

Я спросил — что он знает и думает о себе как о небывалом, дивном феномене. Он пожал плечами. — «Об этом я знаю не больше вашего; вероятно, не больше того, что знают некоторые сочинители о своих сюжетах и темах: они *являются*. Так *это* является у меня». Более он не объяснил ничего. Я был потрясен. Я предложил ему миллион; он отказался — и даже — зевнул. Я не настаивал. Он отказался так решительно и бесспорно, что настойчивость равнялась бы унижению. Но, естественно, я спросил, какие причины заставляют его выступить публич-

но. — «Время от времени, — сказал он, — слабеет мой дар, если не оживлять его; он восстанавливается вполне, когда есть зрители моих упражнений. Вот — единственное ядро, к которому я прикован». Но я ничего не понял; должно быть, он пошутил. Я вынес впечатление, что говорил с замечательным человеком, хранящим строжайшее инкогнито. Он молод, серьезен, как анатом, и великолепно одет. Он носит бриллиантовую булавку тысяч на триста. О всем этом стоит задуматься.

На другой же день утренние и вечерние газеты тиснули интервью с Агассием; в одной газете появился даже импровизированный портрет странного гастролера. Усы и шевелюра портрета сделали бы честь любой волосорастительной рекламе. На читателя, выкатив глаза, смотрел свирепый красавец.

Между тем виновник всего этого смятения, пересмотрев газеты и вдосталь полюбовавшись интересным портретом, спросил: — «Ну, Друд, ты будешь двадцать третьего в цирке?»

Сам отвечая себе, он прибавил: — «Да. Я буду и посмотрю, как это сильное дуновение, этот удар вихря погасит маленькое косное пламя невежественного рассудка, которым чванится «царь природы». И капли пота покроют его лицо...»

II

Не менее публики подхвачена была волной острого интереса вся цирковая труппа, включая прислугу, билетеров и конюхов. Пошел слух, что «Двойная Звезда» (как приказал он обозначить себя в афише) — граф и миллиардер, и о нем вздыхали уже наездницы, глотая слюнки в мечтах ресторанным-ювелирного качества; уже пытали зеркало балерины, надеясь каждая увлечь сиятельного оригинала, и с пеной на губах спорили, — которую из них купит он подороже. Клоуны придумывали, как смешить зрителя, пародируя новичка. Пьяница-сочинитель Дебор уже смастерил им несколько диалогов, за что пил водку и брэнчал серебряной мелочью. Омраченные завистью гимнасты, вольтижеры и жонглеры твердили единым духом, до последнего момента, что таинственный гастролер-шарлатан из Индии, где научился действовать немного внушением, и предсказывали фиаско. Они же пытались распространить весть, что соперник их по арене — беглый преступник. Они же сочинили, что «Двойная Звезда» — карточный шулер, битый неоднократно. Им же принадлежала интересная повесть о шантаже, которым будто бы обезоружил он присмирившего Агассица. Но по существу дела никто не мог ничего сказать: дымная спираль сплетни вилась, не касаясь центра. Один лишь клоун Арси, любивший повторять: «Я знаю и видал все, поэтому ничему не удивляюсь», — особенно подчеркивал свою фразу, когда разговор поднимался о «Двойной Звезде»; но на больном, желчном лице клоуна отражался тусклый испуг, что его бедную жизнь может поразить нечто, о

чем он задумывается с волнением, утратив нищенский покой, добытый тяжким трудом гримас и ушибов.

Еще много всякого словесного сора — измышлений, болтовни, острот, издевательств и предсказаний — застряло в ушах разных людей по поводу громкого выступления, но всего не подслушаешь. В столбе пыли за копытами коней Цезаря не важна отдельно каждая сущая пылинка; не так уж важен и отсвет луча, бегущего сквозь лиловые вихри за белым пятном золотого императорского шлема. Цезарь пылит... Пыль — и Цезарь.

III

23-го окно цирковой кассы не открывалось. Надпись гласила: «Билеты проданы без остатка». Несмотря на высокую цену, их раскупили с быстрой треска; последним билетам, еще 20-го, была устроена лотерея, — в силу того, что они вызвали жестокий спор претендентов.

Пристальный взгляд, брошенный в этот вечер на места для зрителей, подметил бы несколько необычный состав публики. Так, ложа прессы была набита битком, за приставными стульями блестели пенсне и воротнички тех, кто был осужден, стоя, переминаясь с ноги на ногу. Была также полна ложа министра. Там сиял нежный, прелестный мир красивых глаз и тонких лиц молодых женщин, белого шелка и драгоценностей, горящих как люстры на фоне мундиров и фраков; так лунный водопад в бархате черных теней струит и искрит стрежи свои. Все ложи, огибающие малиновый барьер цветистым кругом, дышали роскошью и сдержанностью нарядной толпы; легко, свободно смеясь, негромко, но отчетливо говоря, эти люди рассматривали противоположные стороны огромного цирка. Над ареной, блистая, ряла воздушная пустота, сомкнутая высоко вверху куполом с голубизной вечернего неба, смотрящего в открытые стеклянные люки.

Выше кресел помещалась физиономическая пестрота интеллигенции, торговцев, чиновников и военных; мелькали знакомые по портретам черты писателей и художников; слышались замысловатая фраза, удачное замечание, изысканный литературный оборот, сплетни и семейные споры. Еще выше жалась на неразгороженных скамьях улица — непросеянная толпа: те, что бегут, шагают и проплывают тысячами пар ног. Над ними же, за высоким барьером, оклеенным цирковыми плакатами, на локтях, цыпочках, подбородках и грудях, придавленных теснотой, сжимаясь шестигранно, как сот, потели парии цирка — галерея; сияясь высвободить хотя на момент руки, они терпели пытку духоты и сердцебиения; более спокойными в этом месиве выглядели лица людей выше семи вершков. Здесь грызли орехи; треск скорлупы мешался с свистками и бесцеремонными окриками.

Освещение а gюпно, возбуждающе яркий свет такой силы, что все, вблизи и вдали, было как бы наведено светлым лаком, погружало про-

тивоположную сторону в блестящий туман, где, однако, раз останавливался там взор, все виделось с отчетливостью бинокля, — и лица и выражения. Цирк, залитый светом, от укрепленных под потолком трапезий, от медных труб музыкантов, шелестящих нотами среди черных пиюитров, до свежих опилок, устилавших арену, — был во власти электрических люстр, сеющих веселое упоение. Закрыв глаза, можно было по слуху намечать все точки пространства — скрип стула, кашель, сдержанный полутакт флейты, гул барабана, тихий, взволнованный разговор и шум, подобный шуму воды, — шелеста движений и дыхания десяти тысячного человеческого заряда, внедренного разом в поперечный разрез круглого здания. Стоял острый запах тепла, конюшен, опилок и тонких духов — традиционный аромат цирка, родственный пестроте представления.

Начало задерживалось; нетерпение овладело публикой; по галереям несколько раз, вспыхивая неровным треском, перекатились аплодисменты. Но вот звякнул и затрепетал третий звонок. Бухнуло глухое серебро литавр, взвыл тромбон, выстрелил барабан; медь и струны в мелькающем свисте флейт понесли воинственный марш, и представление началось.

IV

Для этого вечера дирекция выпустила лучшие силы цирка. Агасиц знал, что к вершине горы ведут крутые тропинки. Он постепенно накаливал душу зрителя, громоздя впечатление на впечатление, с расчетливым и строгим разнообразием; благодаря этому зритель должен был отдать весь скопленный жар души венчающему концу: в конце программы значился «Двойная Звезда».

Арена ожила: гимнасты сменяли коней, кони — клоунов, клоуны — акробатов; жонглеры и фокусники следовали за укротителем львов. Два слона, обвязанные салфетками, чинно поужинали, сидя за накрытым столом, и, княжеским движением хобота бросив «на чай», катались на деревянных шарах. Задумчивое остоленение клоунов в момент неизбежного удара по затылку гуттаперчевой колбасой вызвало не одну мигрень слабых голов, заболевших от хохота. Еще клоуны почесывались и острились, как наездник с наездницей, на белых астурийских конях, вылетели и понеслись вокруг арены. То бы Вахх и вакханка — в шкурах барса, венках и гирляндах роз; они, мчась с силой ветра, разыграли мимическую сцену балетного и акробатического характера, затем скрылись, оставив в воздухе блеск и трепет грациозно-шальных тел, одержимых живописным движением. После них, предшествуемые звуком трубы, вышли и расселись львы, ревом заглушая оркестр; человек в черном фраке, стреляя бичом, унизил их, как хотел; пена валилась из их пастей, но они вальсировали и прыгали в обруч. Четыре гимнаста, раскачиваясь под куполом, перебрасывались

с одной трапеции на другую жуткими вольтами. Японец-фокусник вытащил из-за ворота трико тяжеловесную стеклянную вазу, полную воды и живых рыб. Жонглер доказал, что нет предметов, которыми нельзя было бы играть, подбрасывая их на воздух и ловя, как ласточка мух, без ушибов и промаха; семь зажженных ламп взлетали из его рук с легкостью фонтанной струи. Концом второго отделения был наездник Ришлей, скакавший на пяти рыжих белогривых лошадях и переходя, стоя, с одной на другую так просто, как мы пересаживаемся на стульях.

Звонок возвестил антракт; публика повалила в фойе, курительные, буфеты и конюшни. Служители прибирали арену. За эти пятнадцать минут племянница министра Руна Бегуэм, сидевшая в его ложе, основательно похоронила надежды капитана Галля, который, впрочем, не сказал ничего особенного. Он глухо заговорил о любви еще утром, но им помешали. Тогда Руна сказала «до свиданья» — с весьма вразумительным холодом выражения, но ослепшее сердце Галля не поняло ее ровного, спокойного взгляда; теперь, пользуясь тем, что на них не смотрят, он взял опущенную руку девушки и тихо пожал ее, Руна, бесшумно отняв руку, повернулась к нему, уткнув подбородок в бархат кресла. Легкая, светлая усмешка легла меж ее бровей прелестной морщинкой, и взгляд сказал — нет.

Галль сильно похудел в последние дни. Его левое веко нервно подергивалось. Он остановил на Руне такой долгий, отчаянный и пытливый взгляд, что она немного смягчилась.

— Галль, все проходит! Вы — человек сильный. Мне искренно жаль, что это случилось с вами; что причиной вашего горя — я.

— Только вы и могли быть, — сказал Галль, ничего не видя, кроме нее. — Я вне себя. Хуже всего то, что вы еще не любили.

— Как?!

— Эта страна вашей души не тронута. В противном случае воспоминание чувства, может быть, сдвинуло бы ваше сердце с мертвой точки.

— Не знаю. Но хорошо, что наш разговор переходит в область соображений. К этому я прибавлю, что смотрела бы, как на несчастье, на любовь, если поразит она меня *без судьбы*.

Руна покойно обвела взглядом ряд лож, точно желая выяснить, не таится ли уже теперь где-нибудь это несчастье среди пристальных взглядов мужчин; но восхищение так надоело ей, что она относилась к нему с презрительной рассеянностью богача, берущего сдачу медью.

— Любовь и судьба — одно... — Галль помолчал. — Или... что вы хотите сказать?

— Я подразумеваю исключительную судьбу, Галль. Знаю, — Руна скорбно двинула обнаженным плечом, — что такой судьбы я... недостойна. — Высокомерие этого слова скрылось в бесподобной улыбке. — Но я все же хочу, чтобы эта судьба была *особенная*.

Галль понял по-своему ее горделивую мечту.

— Конечно, я вам не пара, — сказал он с искренней обидой и с не менее искренним восторгом. — Вы достойны быть королевой. Я — обыкновенный человек. Однако нет вещи, над которой я задумался бы, прикажи вы мне исполнить ее.

Руна повела бровью, но улыбнулась. Сильная любовь возбуждала в ней религиозное умиление. Когда Галль не понял ее, она захотела подвинуть его ближе к своей душе. Так добрые люди любят, посетовав нищему о его горькой доле, заняться анализом своих ощущений на тему: «добрый ли я человек»? А нищему все равно.

— Для королевы я, пожалуй, умнее, чем надо быть умной в ее сане, — сказала Руна. — Я ведь знаю людей. Должна вас изумить. Та судьба, с какой могла бы я встретиться, не смотря на нее вниз, — едва ли возможна. Вероятно, нет. Я очень тщеславна. Все, что я думаю о том, смутно и ослепительно. Вы знаете, как иногда действует музыка... Мне хочется жить как бы в несмолкающих звуках торжественной, всю меня перерождающей музыки. Я хочу, чтобы внутреннее волнующее блаженство было осмыслено властью, не знающей ни предела, ни колебаний.

Эту маленькую, беззастенчивую исповедь Руна произнесла с грациозной простотой молодой матери, нашептывающей засыпающему ребенку сны властелинов.

— Экстаз?

— Я не знаю. Но слова заключают больше, чем о том думают люди, жалеющие о немощи слов. Довольно, а то вы измените мнение обо мне в дурную сторону.

— Я не меняю мнений, не меняю привязанностей, — сказал Галль и, видя, что Руна задумалась, стал молча смотреть на ее легкий профиль, собирая, для полноты впечатления, все, что о ней знал. Десяти лет она написала замечательные стихи. Семнадцатый и восемнадцатый годы она провела в кругосветном плавании, и ее экзотические рисунки были проданы с большой выставки по дорогой цене, в пользу слепых. Она не искала популярности этого рода — не любила ее. Она великолепно играла; ей по очереди пророчили то ту, то другую славу, — она славы не добивалась. В ее огромном доме можно было переходить из помещения в помещение с нарастающим чувством власти денег, одухотворенной художественной и разносторонней душой. Независимая и одинокая, она проходила жизнь в душевном молчании, без привязанностей и любви, понимая лишь инстинктом, но не опытом, что дает это, еще не испытанное ею чувство. Она знала все европейские языки, изучала астрономию, электротехнику, архитектуру и садоводство, спала мало, редко выезжала и еще реже устраивала приемы.

Этот невозмутимый, холодный мир был заключен в совершенную оболочку. По мягкости линий и выражения ее лицо было лицом блондинки, но под сверкающей волной черных волос давало непостижи-

мое сочетание зноя и нежности. Ее вполне женственная, без впечатления хрупкости, фигура веяла свежестью и весельем ясного тела. Она была чуть пониже Галля; он же, при среднем росте, казался выше благодаря эполетам.

Галль — интеллигентный воин с немного расплывчатым лицом и меланхолическими глазами доброго человека, которым пытался иногда придать высокомерное выражение, передумав о Руне Бегуэм все, что пришло на мысль, обратил внутренний взгляд к себе, но, не найдя там ничего особенного, кроме здоровья, любви, службы и аккуратных привычек, почувствовал печаль смирения. Ему не следовало говорить о любви. Все же в момент третьего звонка, как бы дернутый его трелью за язык, он успел сказать: «Я желаю вам счастья...» Конец фразы: «если бы — со мной...» — застрял в его горле. Он разглядел усы и приготовился смотреть представление.

V

Последний перед выходом «Двойной Звезды» номер назывался «Бессилие оков». Он состоял в том, что широкоплечего, низкорослого человека связали по рукам и ногам толстенными веревками, опутали проволокой; сверх того опоясали кандалами руки и ноги. Затем его накрыли простыней; он повозился под ней минуты две и встал совершенно распутанный; узы валялись на песке.

Он ушел. Наступила глубокая, острая тишина. Музыка заиграла и смолкла. Цирк неслышно дышал. Заразительное ожидание проникло из души в душу, напрягая чувства; взгляды, направленные к выходной занавеси, молча вызывали обещанное явление. Музыканты перелистывали ноты. Прошло минут пять; нетерпение усиливалось. Верхи, потрещав вразброд, разразились залпами рукоплесканий протеста; середина поддержала их; низы беседовали, трепетали веерами, улыбались.

Тогда, вновь заставив стихнуть шум нетерпения, у выхода появился человек среднего роста, прямой, как пламя свечи, с естественной и простой манерой; задержась на мгновение, он вышел к середине арены, ступая мягко и ровно; остановясь, он огляделся с улыбкой, обвел взглядом сверкающую впадину цирка и поднял голову, обращаясь к оркестру.

— Сыграйте, — сказал он, подумав, негромко, но так внятно, что слова ясно прозвучали для всех, — сыграйте что-нибудь медленное и плаванное, например, «Мексиканский вальс».

Капельмейстер кивнул, постучал и взмахнул палочкой.

Трубы зарокотали вступление; кружась, ветер мелодии охватил сердца пленом и мерой ритма; звон, трели и пение рассеяли непостижимую магию звука, в которой праздничнее сверкает жизнь и что-то прощается внутри, насыщая все чувства.

«Двойная Звезда», — каким являлся он взгляду зрителей в эту минуту, — был человек лет тридцати. Его одежда состояла из белой рубашки, с перетянутыми у кистей рукавами, черных панталон, синих чулок и черных сандалий; широкий серебряный пояс обнимал талию. Светлый, как купол, лоб нисходил к темным глазам чертой тонких и высоких бровей, придававших его резкому лицу выражение высокомерной ясности старинных портретов; на этом бледном лице, полном спокойной власти, меж тенью темных усов и щелью твердого подбородка презрительно кривился маленький, строгий рот. Улыбка, с которой он вышел, была двусмысленна, хотя не лишена равновесия, и полна скрытого обещания. Его волосы бобрового цвета слабо вились под затылком, в углублении шеи, спереди же чуть-чуть спускались на лоб; руки были малы, плечи слегка откинута.

Он отошел к барьеру, притопнул и, не спеша, побежал, с прижатыми к груди локтями; так он обогнул всю арену, не совершив ничего особенного. Но со второго круга раздалась возгласы: «Смотрите, смотрите». Оба главных прохода набились зрителями: высыпали все служащие и артисты. Шаги бегущего исказились, уже двигался он гигантскими прыжками, без видимых для того усилий; его ноги, легко трогая землю, казалось, не поспевают за неудержимым стремлением тела; уже несколько раз он в течение прыжка просто перебирал ими в воздухе, как бы отталкивая пустоту. Так мчался он, совершив крут, затем, пробежав обыкновенным манером некоторое расстояние, резко поднялся вверх на высоту роста и замер, остановился в воздухе, как на незримом столбе. Он пробыл в таком положении лишь едва дольше естественной задержки падения — на пустяки, может быть треть секунды, — но на весах общего внимания это отозвалось падением тяжелой гири против золотника, — так необычно метнулось пред всеми загадочное явление. Но не холод, не жар восторга вызвало оно, а смуту тайного возбуждения: вошло нечто из-за пределов существа человеческого. Многие повскакали; те, кто не уследил в чем дело, кричали среди поднявшегося шума соседям, спрашивая, что случилось? Чувства уже были поражены, но еще не сбиты, не опрокинуты; зрители перекидывались замечаниями. Балетный критик Фогард сказал: — «Вот монстр элевации; с времен Агнессы Дюпорт не было ничего подобного. Но в балете, среди фейерверка иных движений, она не так поразительна». В другом месте можно было подслушать: — «Я видел прыжки негров в Уганде; им далеко...» — «Факирство, гипноз!» — «Нет! Это делается с помощью зеркал и световых эффектов», — возгласило некое компетентное лицо.

Меж тем, отдыхая или раздумывая, по арене прежним неторопливым темпом бежал «Двойная Звезда», сея тревожные ожидания, разразившиеся неудержимо. Чего ждал взволнованный зритель? Никто не мог ответить себе на это, но каждый был как бы схвачен невидимыми руками, не зная, отпустят или бросят они его, бледнеющего в непо-

нятной тоске. Так чувствовали, как признавались впоследствии, даже маньяки сильных ощущений, люди испытанного хладнокровия. Уже несколько раз среди дам взлетало высокое «ах!» с оттенком более серьезным, чем те, какими окрашивают это универсальное восклицание. Верхи, ничего не понимая, голосили «браво» и набивали ладони. Тем временем в толпе цирковых артистов, запрудивших выход, произошло движение; эти много выдавшие люди были поражены не менее зрителей.

Прошло уже около десяти минут, как «Двойная Звезда» выступил на арену. Теперь он увеличил скорость, делая, по-видимому, разбег. Его лицо разгорелось, глаза смеялись. И вдруг ликующий детский крик звонко разлетелся по цирку: — «Мама, мама! Он летит. — Смотри, он не задевает ногами!»

Все взгляды разом упали на только теперь замеченное. Как пелена спала с них; обман мерного движения ног исчез. «Двойная Звезда» несся по воздуху на фут от земли, поднимаясь все круче и выше.

Тогда, внезапно, за некоей неуловимой чертой, через которую, перескакнув и струсив, заметалось подкошенное внимание, — зрелище вышло из пределов фокуса, став чудом, то есть тем, чего втайне ожидаем мы всю жизнь, но когда оно наконец блеснет, готовы закричать или спрятаться. Покинув арену, Друд всплыл в воздухе к люстрам, обернув руками затылок. Мгновенно вся воображаемая тяжесть его тела передалась внутреннему усилию зрителей, но так же быстро исчезла, и все увидели, что выше галерей, под трапециями, мчится, закинув голову, человек, пересекая время от времени круглое верхнее пространство с плавной быстротой птицы, — теперь он был страшен. И его тень, ныряя по рядам, металась внизу.

Смятенный оркестр смолк; одинокий гобой взвыл фальшивой нотой и как подстреленный оборвал медный крик.

Вопли «Пожар!» не сделали бы того, что поднялось в цирке. Галерея завывала; крики: «Сатана! Дьявол!» подхлестывали волну паники; повальное безумие овладело людьми; не стало публики: она, потеряв связь, превратилась в дикое скопище, по головам которого, сорвавшись с мощных цепей рассудка, бешено гудя и скаля зубы, скакал Страх. Многие, в припадке внезапной слабости или головокружения, сидели, закрыв руками лицо. Женщины теряли сознание; иные, задыхаясь, рвались к выходам; дети рыдали. Всюду слышался треск балюстрад. Беглецы, запрудив арену, сталкивались у выходов, сбивая друг друга с ног, хватая и отталкивая передних. Иногда резкий визг покрывал весь этот кромешный гвалт; слышались стоны, ругательства, грохот опрокинутых кресел. А над цирком, выше трапеций и блоков, скрестив руки, стоял в воздухе «Двойная Звезда».

— Оркестр, музыку!!! — кричал Агассиц, едва сознавая, что делает.

Несколько труб взвыло предсмертным воплем, который быстро утих; затрещали поваленные пюпитры; эстрада опустела; музыканты,

бросив инструменты, бежали, как все. В это время министр Дауговет, тяжело потирая костлявые руки и сдвинув седину бровей, тихо сказал двум, быстро вошедшим к нему в ложу, прилично, но незначительно одетым людям: «Теперь же. Без колебания. Я беру на себя. Ночью лично ко мне с докладом, и никому больше ни слова!»

Оба неизвестных без поклона выбежали и смешались с толпой.

Тогда Друд вверху громко запел. Среди неистовства его голос прозвучал с силой порыва ветра; это была короткая, неизвестная песня. Лишь несколько слов ее было схвачено несколькими людьми: «Тот путь без дороги...» Каданс пропал в гуле, но можно было думать, что есть еще три стопы, с мужской рифмой в отчетливом слове «клир». Снова было не разобрать слов, пока на паузе гула они не окончились загадочным и протяжным: «зовущий в блистающий мир».

От ложи министра на арену выступила девушка в платье из белых шелковых струй. Бледная, вне себя, она подняла руки и крикнула. Никто не расслышал ее слов. Она нервно смеялась. Ее глаза, блестя, неслись вверх. Она ничего не видела, не понимала и не чувствовала, кроме светлой бездны, вспыхнувшей на развалинах этого дня чудным огнем.

Галь подошел к ней, взял за руку и увел. Вся дрожа, она повиновалась ему почти бессознательно. Это была Руна Бегуэм.

VI

Когда, вновь коснувшись земли, «Двойная Звезда» стремительно направился к выходу, паника в проходе усилилась. Все, кто мог бежать, скрыться, — исчезли с его пути. Многие попадали в давке; и он беспрепятственно достиг кулис, взял там шляпу и пальто, а затем вышел, через конюшни, в аллею бульвара.

Он укрыл лицо шарфом и исчез влево, на свет уличных фонарей. Едва он отошел, как несколько беспощадных ударов обрушилось на его плечи и голову; в луче фонаря блеснул нож. Он повернулся; острие увязло в одежде. Стараясь освободить левую руку, за которую ухватились двое, правой он сжал чье-то лицо и резко оттолкнул нападающего; затем быстро взвился вверх. Две руки отцепились; две другие повисли на его локте с остервенением разъяренного бульдога. Рука Друда немела. Поднявшись над крышами, он увидел ночную иллюминацию улиц и остановился. Все это было делом одной минуты. Склонившись, с отвращением рассмотрел он сведенное ужасом лицо агента; тот, поджав ноги, висел на нем в борьбе с обмороком, но обморок через мгновение поразил его. Друд вырвал руку; тело понеслось вниз; затем из глубины, заваленной треском колес, вылетел глухой стук.

— Вот он умер, — сказал Друд, — погибла жизнь и, без сомнения, великолепная награда. Меня хотели убить.

У него было предчувствие, и оно не обмануло его. Он ждал дня выступления с улыбкой и грустью — безотчетной грустью горца, вззирающего с вершины на обширные туманы низин, куда не долетит звук. И если он улыбался, то лишь приятным, невозможным вещам — чему-то вроде восхищенного хора, пытающего, теребя и увлекая его в круг радостно засиявших лиц: и что там, в том мире, где он плывет и дышит свободно? И нельзя ли туда сопутствовать, закрыв от страха глаза?

Друд несся над городскими огнями в гневе и торжестве. Медля возвращаться домой, размышлял он о нападении. Змея бросилась на орла. Вместе с тем он сознавал, что опасен. Его постараются уничтожить, или, если в том не успеют, окружают его жизненный путь вечной опасностью. Его цели непостижимы. Помимо того, самое его существование — абсурд, явление нетерпимое. Есть положения, ясные без их логического развития: Венера Милосская в бакалейной лавке, сундук с шаровидными молниями, отправленный по железной дороге; взрывы на расстоянии. Он вспомнил цирк — так ясно, что в воздухе, казалось, снова блеснул свет, при котором разыгрались во всем их безобразии сцены темного исступления. Единственным утешением были поднятые вверх с криком победы руки неизвестной женщины; и он вспомнил стадо домашних гусей, гогочущих, завидя диких своих братьев, летящих под облаками: один гусь, вытянув шею и судорожно хлеща крыльями, запросился, — тоже, — наверх, но жир удержал его.

Приблизился свист перьев; ночная птица ударилась в грудь, забила у лица и, издав стон ужаса, взмыла, сгинув во тьме, Друд миновал черту города. Над гаванью он пересек луч прожектора, соображая, что теперь, верно, будут протирать зеркало или глаза, думая, не померещился ли на фоне береговых скал человеческий силуэт. Действительно, в крепости что-то произошло, так как луч начал кроить тьму по всем направлениям, попадая, главным образом, в облака. Друд повернул обратно, развлекаясь обычной игрой; он населил по дороге свой путь воздушными ладьями, откуда слышался шепот влюбленных пар; они скользили к серпу луны, в его серебряную кисейку, бросающую на ковры и цветы свою тонкую белизну. Их кормчие, веселые, маленькие духи воздуха, завернув крылья под мышку, тянули парус. Он слышал смех и перебор струн. Еще выше лежала торжественная пустота, откуда из-за мириадом миль протягивались в прищуренный глаз иглы звездных лучей; по ним, как школьники, скатывающиеся с перил лестницы, сновали пузатенькие арапы, толкаясь, гримасничая и опрокидываясь, подобно мартышкам. Все звуки, подымающиеся с земли, имели физическое отражение; высоко летели кони, влача призрачную карету, набитую веселой компанией; дым сигар мутил звездный луч; возница, махая бичом, ловил слетевший цилиндр. В стороне скользили освещенные окна трамвая, за которыми господин читал газету, а франт сосал тросточку, косясь на миловидное лицо соседки.

Тут и там свешивались балконы, прорезанные светом дверей, укрытых зеленью, позволяющей видеть кончик туфли или опасный блеск глаз, мерцающих, как в засаде. Бежал воздушный газетчик, размахивая пачкой газет; кошка стремглав перелезла по невидимым крышам, и гуляющие останавливались над городом, раскланиваясь в теплую тьму.

Как только Друд устал, эта игра рассеялась подобно стае комаров, если по ней хватил дождь. Он присел на фронтон башенных часов, которые снизу казались озаренным кружком в тарелку величиной, вблизи же являли двухсаженную амбразуру, заделанную стеклом толщиной дюйма в три, с аршинными железными цифрами. За стеклом, гремя, двигались шестерни, колеса и цепи; в углу, попивая кофе, сидел машинист, с грязной полосой поперек небритой щеки; среди инструментов, свертков пакли и жестянок с маслом дымилась печка, на которой кипел кофейник. На оси снаружи стекла две огромные стрелы указывали десять минут второго. Ось дрогнула, минутная стрелка за скрипела и свалилась на фут ниже, отметив одиннадцатую минуту. По карнизам жались в ряды сонные голуби, гуркая и скрипя клювом. Друд зевнул. Цирк и нападение утомили его. Он дождался, когда часовые колокола, отмечая четверть второго, вызвонили такт старинной мелодии, и устремился к гостинице, где временно жил.

VII

Тщетно искали горожане на другой день в страницах газет описания загадочного события; сила, действующая с незапамятных времен пером и угрозой, разослала в редакции секретный циркуляр, предписывающий «забыть» необыкновенное происшествие; упоминать о нем запрещалось под страхом закрытия; никаких объяснений не было дано по этому поводу, и редакторы возвратили авторам длиннейшие статьи, — плоды бессонной ночи, — украшенные самыми заманчивыми заголовками.

Меж тем слухи достигли такого размаха, приняли такие размеры и очертания, при каких исчезал уже самый смысл происшествия, подобно тому, как гигантской, но бесформенной становится тень человека, вплотную подошедшего к фонарю. Очевидцы разнесли свои впечатления по всем закоулкам, и каждый передавал так, что остальным было бы о чем с ним поспорить, — лучшее доказательство своеобразия в восприятии. В деле Друда творчество масс, о котором ныне, слышно, чрезвычайно хлопочут, проявилось с безудержностью истерического припадка. Правда, мелкотравчатый скептицизм образованной части населения пустил тонкое «но», в глубокомысленной бессмысленности которого уху, настроенному соответственно, слышалось множество остроумнейших изъяснений. На это «но», как на шпильку, наматывалась пестрая нить ходячей энциклопедии. Кто

приводил гипнотизм, факирство, кто чудеса техники; ссылались и на старинных фокусников, творивших непостижимые чудеса, с продвунной машинкой в подкладке. Не были забыты ни синематограф, ни волшебный фонарь, ни знаменитые автоматы: механический человек Вебера обыгрывал искуснейших шахматистов своего времени. В силу того, что всякое событие подобно шару, покрытому сложным рисунком, очевидцы противоречили друг другу, не совпадая в описании происшестввия, так как каждый видел лишь обращенную к нему часть шара, с сверхсметной прибавкой фантазии, или же, желая поразить сухой точностью, отнимал подробности; таким образом, сама очевидность стала наполовину спорной. Однако «глас божий», то есть вести с конюшен и галерей, праздновал богатый пир, украшаясь всем, что есть вздорного в человеке, когда захочет он небылиц и сам стряпает их. Эти вести создали легенду о черте, выехавшем на белом коне; по точным справкам других, дьявол похитил девочку и улетел с нею в окно; третьи добавляли, что малютка превратилась в старуху страшного вида. Наперерез этой диковине всплыл слух об ангелах, запевших над головой публики о конце мира, но более склонялись все к объяснению, данному буфетчиком «Ниагары», что приезжий грек изобрел летательную машинку, которую можно держать в кармане; грек вылетел из цирка на улицу и упал, потому что в машинке сломался винт. Венцом всей путаницы было потрясающее известие о посещении цирка стаей летающих мертвецов, которые пили, ели, а затем принялись безобразить, срывая с зрителей шляпы и выкрикивая на неизвестном языке умопомрачительные слова.

Малый очаг такого кипения слухов представляла утром 24-го числа кухня гостиницы «Рим», в девятом часу. Здесь, за столом, посреди которого валил пар огромной сковороды с бараниной, лакей и повар вели жаркий спор; их слушали горничные и кухарка; повара, гримасничая и надевая у плиты друг друга щелчками, успевали в то же время слушать беседу. Лакей хотя и не попал в цирк, за отсутствием билетов, но весь вечер протолкался у входа среди несчастливцев, тщетно надеявшихся умиловить контролера сигарой или проскочить, улучив момент, — внутрь.

— Вздор! — сказал повар, выслушав описание повального бегства зрителей. — Хотя бы видел ты собственными глазами, чего, как говоришь сам, — не было.

— Легко сказать — «вздор», — возразил лакей, — тверди «вздор», что бы ты ни услышал. Противно с тобой говорить... Если думают, что я лгу, пусть имеют храбрость сказать мне это прямо в лицо.

— А что тогда будет? — воинственно спросил повар. — Прямо в лицо?! Вот я тебе прямо в лицо и говорю, что ты врешь.

— Я? Вру?

— Ну, не врешь, так сочиняешь, это одно и то же, а если хочешь знать правду, то я тебе объясню: все произошло оттого, что обруши-

лись столбы. Этого я, разумеется, не видел, но думаю, что хватит и такой безделицы. Галереи ведь на столбах, не так ли? А раз зрителей набилось туда втрое больше, чем полагается, подпорки и подломились.

— При чем тут подпорки, — возразил, вспотев от отчаяния, лакей, — когда побежала полная улица народа, двери трещали, и я сам слышал крики. Кроме того, я многих расспрашивал; кажется, ясно.

— Вздор! — сказал повар. — Как обломают тебе ноги, так закричишь, сам не зная что. Бывает, что с испуга человек сходит с ума и начинает нести всякую чепуху.

— Уж всем известно, что вы неверующий, — заголосила горничная в то время, как ее подруга с кухаркой, разинув рты, трепетали в припадке острого любопытства, — а я еще маленькая видела такую вещь, что попросите меня рассказать о том на ночь, я ни за что не решусь. Приходит к нам человек, — дело было ночью, — и просится ночевать...

— И я хорошо помню, — перебил лакей, — как вышел из двери солидный, вежливый господин. — «Что там произошло?» — спросил я его, и вижу, что он сильно взволнован; он мне сказал: — «Не ищите суетных развлечений. Я видел, как в человека вселился демон и поднял его на воздух. Молитесь, молитесь!» — И он ушел, этак помахивая рукой. Я вам говорю, в одной этой его руке была масса выражения!

Повар не успел произнести — «Вздор!», как горничная, опасаясь, что ее рассказ потонет в ожесточении спорщиков, взяла тоном выше и заговорила быстрее:

— Вы слышите? Я сказала, что тот человек попросился к нам ночевать; отец поворчал, но пустил, а на другой день мать говорила ему: — «Что? разве не была я права?» — Она не хотела, чтобы его пустили. Что же вышло? У нас в доме была пустая комната, в которой никто не жил: туда сваливали обыкновенно овощи; там же отец держал токарный станок. В эту комнату уложили мы спать нашего странника. Я его как сейчас вижу; высокий, толстый, седой, а лицо гладкое и такое розовое, как вот у Бетси, или у меня, когда меня не раздражают ничем. Хотя я была маленькая, но ясно видела, что в старике есть что-то подозрительное. Когда он убрался спать, я подкралась к двери, заглянула в замочную скважину и... вы можете представить, что я увидела?

— Нет, нет! Не говорите! Не говорите! — воскликнули женщины. — Ай, что же вы там увидели?

— Он сидел на мешках. Я и теперь вся дрожу, как тогда. — «Обожаемые мои члены! — сказал он и снял правую ногу. — Мои любезные оконечности!..» — Тут, — ей-богу, я сама это видела, — отнял он и поставил к стене левую ногу. Колени мои подкосились, но я смотрю. Я смотрю, а он снимает одну руку, вешает ее на гвоздь, снимает другую руку, кладет ее этак небрежно, и... и...

— Ну?! — подхватили слушатели.

— И преспокойно снимает с себя голову! Вот так! Бряк ее на колени!

Здесь, желая изобразить ужасный момент, рассказчица схватила себя за голову, вытаращив глаза, а затем, с видом изнеможения, вызванного тяжелым воспоминанием, картинно уронила руки и откинулась, переводя дух.

— Ну, уж это ты врешь, — сказал повар, интерес которого к повествованию заметно упал, как только горничная лишила нищего второй руки. — Чем же он снял голову, если у него не было рук?

Горничная обвела его ледяными глазами.

— Я давно замечаю, — хлестко возразила она, — что вы ведете себя как азиатский паша, не имея капельки уважения к женщине. Кто вбил вам в голову, что старик был без рук? Я же говорю, что руки у него были.

Ум повара помутился; бессильно махнул он рукой и плюнул. В этот момент вошел, смотря вверх огромных очков человек в переднике и войлочных туфлях. Это был коридорный с верхнего этажа.

— Странное дело, — сказал он, ни к кому в отдельности не обращаясь, но обводя всех по очереди мрачным, нездешним взглядом. — Что? Я говорю, что это странное дело, как и доложил я о том ночью же управляющему.

Наступила вязкая пауза.

— Какое же это странное дело? — спросил лакей.

— Как вспомню, — мороз подирает, — сказал коридорный, когда новая пауза достигла неприятных размеров. — Слушайте. Сегодня, во втором часу ночи, почистив все сапоги, проходил я мимо 137-го и, заметив, что дверь не заперта, а притворена, — постучал; не за делом, а так. Мало ли что может быть. Было там тихо. Я вошел, убедился, что жильца нет, запер ключом дверь, а ключ положил в карман, потом повесил его на доску. После того как я задержался наверху минут пять, снова пошел вниз и, как дорога моя была мимо того же 137-го, увидел, что дверная ручка качнулась. Кто-то изнутри пробовал отворить дверь. Я тихо подошел к ней и замер, — еще раз дернулась ручка, затем раздались шаги. Тут я заглянул в скважину. В передней был свет, и я увидел спину отходящего человека. У портъеры, отведа ее, он остановился и повернулся, — но это был не чужой, а тот самый Айшер, что там живет. Минут через пять, не больше, он взошел в коридор по лестнице, снял ключ и попал к себе.

Изложив эти обстоятельства, коридорный вновь по очереди осмотрел широко раскрытые рты и прибавил:

— Понимаете?

— Черт побери! — сказал лакей, ехидно взглянув на повара, который на этот раз не закричал «вздор», а лишь горько покачал головой над куском бараньего жира. — Как же он мог оказаться у себя дома?

— Если не через балкон, то разве что в образе комара или мухи, — пояснил коридорный, — даже мыши не пролезть в замочную скважину.

— А что сказал управляющий?

— Он сказал: «Гм... только, я думаю, не померещилось ли тебе?» Однако я видел, как он с легкостью побежал наверх, должно быть затем, чтобы посмотреть самому в дырку; а спускался он назад с лицом втрое длиннее, чем оно было.

Тут все стали обсуждать поведение и личность таинственного жителя.

— Он редко бывает дома, — сказал коридорный, причем вспомнил, что Айшер предпочел номер в верхнем этаже, хотя эта комната хуже свободных номеров этажей нижних. Бетси пропела:

— Степенный молодой человек, на редкость кроткий и вежливый; никто еще не слышал от него замечаний, даже когда забудешь пройти по комнате щеткой или, стоя перед зеркалом, помедлишь явиться на звонок.

Никто не знал, чем он занимается, никто не посетил его. Слышали иногда, как он разговаривает сам с собой, или, смотря в книгу, тихо смеется. Бесплезно расставлять ему пепельницы, потому что окурки все равно валяются на полу.

Меж тем лакей как бы впал в транс; все созерцательнее, значительнее и рассеянее становилось его лицо, и все выше возводил он глаза к потолку, где бодро жужжали мухи. Возможно, что эти насекомые сыграли для него роль легендарного Ньютонова яблока, дав разрозненной добыче ума связь кристаллическую; подняв руку, чтобы привлечь внимание, он уставился нахмуренным взглядом в сизый нос повара и слабым голосом, за каким в таких случаях стоит гордая уверенность, что сказанное прозвучит поразительнее громовых возгласов, медленно произнес:

— А знаете ли вы, кто такой жилец 137-го номера, кто этот человек, попадающий домой без ключа, кто он, именуемый Симеон Айшер? Да, кто он, — знаете вы это? А если не знаете, то желаете знать или не желаете?

Выяснилось, что желают все, но что некоторые недолюбливают, когда человек кривляется, а не говорит прямо.

— Прямо?! — воскликнул лакей. — Так вот! — Он встал, картинно опрокинул стул и, протянув правую руку к сетке для процеживания макарон, крикнул: — Человек, попадающий без ключа! Человек, требующий, чтобы ему непременно отвели верхнее помещение! Человек, о котором никто не знает, кто он такой, — этот человек есть тот, который полетел в цирке!

Раздалось женское «Ах!», и шум изумления заглушил раздражительный протест повара. В эту минуту вбежал тощий мальчуган, издали еще примахивая к себе рукой Бетси и крича: — «Идите скорей, вас требует управляющий».

— По-вашему, все мошенники! — вскричала, убегая с мальчиком, задетая в своих симпатиях, Бетси. — Это, может, вы летаете, а не Айшер!

ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ

I

«Дул ветер...», — написав это, я опрокинул неосторожным движением чернильницу, и цвет блестящей лужицы напомнил мне мрак той ночи, когда я лежал в кубрике «Эспаньолы». Это суденышко едва поднимало шесть тонн, на нем прибыла партия сушеной рыбы из Мазабу. Некоторым нравится запах сушеной рыбы.

Все судно пропахло ужасом, и, лежа один в кубрике с окном, заткнутым тряпкой, при свете скраденной у шкипера Гро свечи, я занимался рассмотриванием переплета книги, страницы которой были выдраны неким практичным чтецом, а переплет я нашел.

На внутренней стороне переплета было написано рыжими чернилами:

«Сомнительно, чтобы умный человек стал читать такую книгу, где одни выдумки».

Ниже стояло: «Дик Фармерон. Люблю тебя, Грета. Твой Д.».

На правой стороне человек, носивший имя Лазарь Норман, расписался двадцать четыре раза с хвостиками и всеобъемлющими росчерками. Еще кто-то решительно зачеркнул рукописание Нормана и в самом низу оставил загадочные слова: «Что знаем мы о себе?»

Я с грустью перечитывал эти слова. Мне было шестнадцать лет, но я уже знал, как больно жалит пчела — Грусть. Надпись в особенности терзала тем, что недавно парни с «Мелузины», напоив меня особым коктейлем, испортили мне кожу на правой руке, выколов татуировку в виде трех слов: «Я все знаю».

Они высмеяли меня за то, что я читал книги, — прочел много книг и мог ответить на такие вопросы, какие им никогда не приходили в голову.

Я засучил рукав. Вокруг свежей татуировки розовела вспухшая кожа. Я думал, так ли уж глупы эти слова «Я все знаю»; затем развеселился и стал хохотать — понял, что глупы. Опустив рукав, я выдернул тряпку и посмотрел в отверстие.

Казалось, у самого лица вздрагивают огни гавани. Резкий, как шелчки, дождь бил в лицо. В мраке суетилась вода, ветер скрипел и выл, раскачивая судно. Рядом стояла «Мелузина»; там мучители мои, ярко осветив каюту, грелись водкой. Я слышал, что они говорят, и стал прислушиваться внимательнее, так как разговор шел о каком-то доме, где полы из чистого серебра, о сказочной роскоши, подземных

ходах и многом подобном. Я различал голоса Патрика и Моольса, двух ржых свирепых чучел.

Моольс сказал:

— Он нашел клад.

— Нет, — возразил Патрик. — Он жил в комнате, где был потайной ящик; в ящике оказалось письмо, и он из письма узнал, где алмазная шахта.

— А я слышал, — заговорил ленивый, укравший у меня складной нож Каррель-Гусиная шея, — что он каждый день выигрывал в карты по миллиону!

— А я думаю, что продал он душу дьяволу, — заявил Болинас, парвар, — иначе так сразу не построишь дворцов.

— Не спросить ли у «Головы с дыркой»? — осведомился Патрик (это было прозвище, которое они дали мне), — у Санди Пруэля, который *все знает*?

Гнусный — о, какой гнусный! — смех был ответом Патрику. Я перестал слушать. Я снова лег, прикрывшись рваной курткой, и стал курить табак, собранный из окурков в гавани. Он производил крепкое действие — в горле как будто поворачивалась пила. Я согревал свой озябший нос, пуская дым через ноздри.

Мне следовало быть на палубе: второй матрос «Эспаньолы» ушел к любовнице, а шкипер и его брат сидели в трактире, — но было холодно и мерзко вверху. Наш кубрик был простой дощатой норой с двумя настилами из голых досок и сельдяной бочкой-столом. Я размышлял о красивых комнатах, где тепло, нет блох. Затем я обдумал только что слышанный разговор. Он встревожил меня, — как будете встревожены вы, если вам скажут, что в соседнем саду опустилась жар-птица или расцвел розами старый пенъ.

Не зная, о ком они говорили, я представил человека в синих очках, с бледным, ехидным ртом и большими ушами, сходящего с крутой вершины по сундукам, окованным золотыми скрепами.

«Почему ему так повезло, — думал я, — почему?..»

Здесь, держа руку в кармане, я нащупал бумажку и, рассмотрев ее, увидел, что эта бумажка представляет точный счет моего отношения к шкиперу, — с 17 октября, когда я поступил на «Эспаньолу» — по 17 ноября, то есть по вчерашний день. Я сам записал на ней все вычеты из моего жалованья. Здесь были упомянуты разбитая чашка с голубой надписью «Дорогому мужу от верной жены»; утопленное дубовое ведро, которое я же сам по требованию шкипера украл на палубе «Западного Зерна»; украденный кем-то у меня желтый резиновый плащ, раздавленный моей ногой мундштук шкипера и разбитое — все мной — стекло каюты. Шкипер точно сообщал каждый раз, что стоит очередное похождение, и с ним бесполезно было торговаться, потому что он был скор на руку.

Я подсчитал сумму и увидел, что она с избытком покрывает жалованье. Мне не приходилось ничего получить. Я едва не заплакал от злости, но удержался, так как с некоторого времени упорно решал вопрос — «кто я — мальчик или мужчина?» Я содрогался от мысли быть мальчиком, но, с другой стороны, чувствовал что-то бесповоротное в слове «мужчина» мне представлялись сапоги и усы щеткой. Если я мальчик, как назвала меня однажды бойкая девушка с корзиной дынь, — она сказала: «Ну-ка, посторонись, мальчик», — то почему я думаю о всем большом: книгах, например, и о должности капитана, семье, ребяташках, о том, как надо басом говорить: «Эй вы, мясо акулы!» Если же я мужчина, — что более всех других заставил меня думать оборвыш лет семи, сказавший, становясь на носки: «Дай-ка прикурить, дядя!» — то почему у меня нет усов и женщины всегда становятся ко мне спиной, словно я не человек, а столб?

Мне было тяжело, холодно, неудобно. Выл ветер — «Вой!» — говорил я, и он выл, как будто находил силу в моей тоске. Крошил дождь. — «Лей!» — говорил я, радуясь, что все плохо, все сыро и мрачно, — не только мой счет с шкипером. Было холодно, и я верил, что простужусь и умру, мое неприкаянное тело...

II

Я вскочил, услышав шаги и голоса сверху; но то не были голоса наших. Палуба «Эспаньолы» приходилась ниже набережной, так что на нее можно было спуститься без сходни. Голос сказал: «Никого нет на этом свином корыте». Такое начало мне понравилось, и я с нетерпением ждал ответа. «Все равно», — ответил второй голос, столь небрежный и нежный, что я подумал, не женщина ли отвечает мужчине. — «Ну, кто там?! — громче сказал первый. — В кубрике свет; эй, молодцы!».

Тогда я вылез и увидел — скорее различил во тьме — двух людей, закутанных в непромокаемые плащи. Они стояли, оглядываясь, потом заметили меня, и тот, что был повыше, сказал:

— Мальчик, где шкипер?

Мне показалось странным, что в такой тьме можно установить возраст. В этот момент мне хотелось быть шкипером. Я бы сказал — густо, окладисто, с хрипотой, — что-нибудь отчаянное, например: «Разорви тебя ад!» — или: «Пусть перелопаются в моем мозгу все тросы, если я что-нибудь понимаю!»

Я объяснил, что я один на судне, и объяснил также, куда ушли остальные.

— В таком случае, — заявил спутник высокого человека, — не спуститься ли в кубрик? Эй, юнга, посади нас к себе, и мы поговорим, здесь очень сыро.

Я подумал... Нет, я ничего не подумал. Но это было странное явление, и, рассматривая неизвестных, я на один миг отлетел в любимую страну битв, героев, кладов, где проходят, как тени, гигантские паруса и слышен крик — песня — шепот: «Тайна — очарование! Тайна — очарование!». «Неужели *началось?*» — спрашивал я себя; мои колени дрожали.

Бывают минуты, когда, размышляя, не замечаешь движений, поэтому я очнулся, лишь увидев себя сидящим в кубрике против посетителей — они сели на вторую койку, где спал Эгва, другой матрос, — и сидели согнувшись, чтобы не стукнуться о потолок-палубу.

«Вот это люди!» — подумал я, почтительно рассматривая фигуры своих гостей. Оба они мне понравились — каждый в своем роде. Старший, широколицый, с бледным лицом, строгими серыми глазами и едва заметной улыбкой, должен был, по моему мнению, годиться для роли отважного капитана, у которого есть кое-что на обед матросам, кроме сушеной рыбы. Младший, чей голос казался мне женским, — увы! — имел небольшие усы, темные пренебрежительные глаза и светлые волосы. Он был на вид слабее первого, но хорошо подбочивался и великолепно смеялся. Оба сидели в дождевых плащах; у высоких сапог с лаковыми отворотами блестел тонкий рант, следовательно, эти люди имели деньги.

— Поговорим, молодой друг! — сказал старший. — Как ты можешь заметить, мы не мошенники.

— Клянусь громом! — ответил я. — Что ж, поговорим, черт побери!..

Тогда оба качнулись, словно между ними ввели бревно, и стали хохотать. Я знаю этот хохот. Он означает, что или вас считают дураком, или вы сказали безмерную чепуху. Некоторое время я обиженно смотрел, не понимая, в чем дело, затем потребовал объяснения в форме достаточной, чтобы остановить потеху и дать почувствовать свою обиду.

— Ну, — сказал первый, — мы не хотим обижать тебя. Мы засмеялись потому, что немного выпили. — И он рассказал, какое дело привело их на судно, а я, слушая, выпучил глаза.

Откуда ехали эти два человека, вовлекшие меня в похищение «Эспаньолы», я хорошенько не понял, — так был я возбужден и счастлив, что соленая сухая рыба дядюшки Гро пропала в цветном тумане истинного, неожиданного происхождения. Одним словом, они ехали, но опоздали на поезд. Опоздав на поезд, опоздали благодаря этому на пароход «Стим», единственное судно, обходящее раз в день берега обоих полуостровов, обращенных друг к другу остриями своими; «Стим» уходит в четыре, вьется среди лагун и возвращается утром. Между тем неотложное дело требует их на мыс Гардена или, как мы называли его, «Троячка» — по образу трех скал, стоящих в воде у берега.

— Сухопутная дорога, — сказал старший, которого звали Дюрок, — отнимает два дня, ветер для лодки силен, а быть нам надо к утру. Ска-

жу прямо, чем раньше, тем лучше... и ты повезешь нас на мыс Гардена, если хочешь заработать, — сколько ты хочешь получить, Санди?

— Так вам надо поговорить со шкипером, — сказал я и вызвался сходить в трактир, но Дюрок, двинув бровью, вынул бумажник, положил его на колени и звякнул двумя столбиками золотых монет. Когда он их развернул, в его ладонь пролилась блестящая струя, и он стал играть ею, подбрасывать, говоря в такт этому волшебному звону.

— Вот твой заработок сегодняшней ночи, — сказал он, — здесь тридцать пять золотых. Я и мой друг Эстамп знаем руль и паруса и весь берег внутри залива, ты ничем не рискуешь. Напротив, дядя Гро объявит тебя героем и гением, когда с помощью людей, которых мы тебе дадим, вернешься ты завтра утром и предложишь ему вот этот банковый билет. Тогда вместо одной галоши у него будут две. Что касается этого Гро, мы, откровенно говоря, рады, что его нет. Он будет крепко скрести бороду, потом скажет, что ему надо пойти посоветоваться с приятелями. Потом он пошлет тебя за выпивкой «спрыснуть» отплытие и напьется, и надо будет уговаривать его оторваться от стула — стать к рулю. Вообще, будет так ловко с ним, как, надев на ноги мешок, танцевать.

— Разве вы его знаете? — изумленно спросил я, потому что в эту минуту дядя Гро как бы побыл с нами.

— О нет! — сказал Эстамп. — Но мы... гм... слышали о нем. Итак, Санди, плывем.

— Плывем.. О рай земной! — Ничего худого не чувствовал я сердцем в словах этих людей, но видел, что забота и горячность грызут их. Мой дух напоминал трамбовку во время ее работы. Предложение заняло дух и ослепило меня. Я вдруг согрелся. Если бы я мог, я предложил бы этим людям стакан грога и сигару. Я решил без оговорок, искренно и со всем согласясь, так как все было правда и Гро сам вымолил бы этот билет, если бы был тут.

— В таком случае... Вы, конечно, знаете.. Вы не подведете меня, — пробормотал я.

Все переменилось: дождь стал шутив, ветер игрив, сам мрак, булькая водой, говорил «да». Я отвел пассажиров в шкиперскую каюту и, торопясь, чтобы не застиг и не задержал Гро, развязал паруса, — два косых паруса с подъемной реей, снял швартовы, поставил кливер, и, когда Дюрок повернул руль, «Эспаньола» отошла от набережной, причем никто этого не заметил.

Мы вышли из гавани на крепком ветре, с хорошей килевой качкой, и как повернули за мыс, у руля стал Эстамп, а я и Дюрок очутились в каюте, и я воззрился на этого человека, только теперь ясно представив, как чувствует себя дядя Гро, если он вернулся с братом из трактира. Что он подумает обо мне, я не смел даже представить, так как его мозг, верно, полон был кулаков и ножей, но я отчетливо видел, как он говорит брату: «То ли это место или нет? Не пойму».

— Верно, то, — должен сказать брат, — это то самое место и есть, — вот тумба, а вот свороченная плита; рядом стоит «Мелузина»... да и вообще...

Тут я увидел самого себя с рукой Гро, вцепившейся в мои волосы. Несмотря на отделяющее меня от беды расстояние, впечатление предстало столь грозным, что, поспешно смигнув, я стал рассматривать Дюрока, чтобы не удручаться.

Он сидел боком на стуле, свесив правую руку через его спинку, а левой придерживая сползший плащ. В этой же левой руке его дымилась особенная плоская папироса с золотом на том конце, который кладут в рот, и ее дым, задевая мое лицо, пахнул, как хорошая помада. Его бархатная куртка была расстегнута у самого горла, обнажая белый треугольник сорочки, одна нога отставлена далеко, другая — под стулом, а лицо думало, смотря мимо меня; в этой позе заполнил он собой всю маленькую каюту. Желая быть на своем месте, я открыл шкафчик дяди Гро согнутым гвоздем, как делал это всегда, если мне не хватало чего-нибудь по кухонной части (затем запирали), и поставил тарелку с яблоками, а также синий графин, до половины налитый водкой, и вытер пальцем стаканы.

— Клянусь брамселем, — сказал я, — славная водка! Не пожелаете ли вы и товарищ ваш выпить со мной?

— Что ж, это дело! — сказал, выходя из задумчивости, Дюрок. Заднее окно каюты было открыто. — Эстамп, не принести ли вам стакан водки?

— Отлично, дайте, — донесся ответ. — Я думаю, не опоздаем ли мы?

— А я хочу и надеюсь, чтобы все оказалось ложной тревогой, — крикнул, полуобернувшись, Дюрок. — Миновали ли мы Флиренский маяк?

— Маяк виден справа, проходим под бейдевинд.

Дюрок вышел со стаканом и, возвратясь, сказал:

— Теперь выпьем с тобой, Санди. Ты, я вижу, малый не трус.

— В моей семье не было трусов, — сказал я с скромной гордостью. На самом деле, никакой семьи у меня не было. — Море и ветер — вот что люблю я!

Казалось, мой ответ удивил его, он посмотрел на меня сочувственно, словно я нашел и поднес потерянную им вещь.

— Ты, Санди, или большой плут, или странный характер, — сказал он, подавая мне папиросу, — знаешь ли ты, что я тоже люблю море и ветер?

— Вы должны любить, — ответил я.

— Почему?

— У вас такой вид.

— Никогда не суди по наружности, — сказал, улыбаясь, Дюрок. — Но оставим это. Знаешь ли ты, пылкая голова, куда мы плывем?

Я как мог взросло покачал головой и ногой.

— У мыса Гардена стоит дом моего друга Ганувера. По наружному фасаду в нем сто шестьдесят окон, если не больше. Дом в три этажа. Он велик, друг Санди, очень велик. И там множество потайных ходов, есть скрытые помещения редкой красоты, множество затейливых неожиданностей. Старинные волшебники покраснели бы от стыда, что так мало придумали в свое время.

Я выразил надежду, что увижу столь чудесные вещи.

— Ну, это как сказать, — ответил Дюрок рассеянно. — Боюсь, что нам будет не до тебя. — Он повернулся к окну и крикнул: — Иду вас сменить!

Он встал. Стоя, он выпил еще один стакан, потом, поправив и застегнув плащ, шагнул в тьму. Тотчас пришел Эстамп, сел на покинутый Дюроком стул и, потирая заочеченные руки, сказал:

— Третья смена будет твоя. Ну, что же ты сделаешь на свои деньги?

В ту минуту я сидел, блаженно очумев от загадочного дворца, и вопрос Эстампа что-то у меня отнял. Не иначе как я уже связывал свое будущее с целью прибытия. Вихрь мечты!

— Что я сделаю? — переспросил я. — Пожалуй, я куплю рыбацкий баркас. Многие рыбаки живут своим ремеслом.

— Вот как?! — сказал Эстамп. — А я думал, что ты подаришь что-нибудь своей *душеньке*.

Я пробормотал что-то, не желая признаться, что моя душенька — вырезанная из журнала женская голова, страшно пленившая меня, — лежит на дне моего сундучка.

Эстамп выпил, стал рассеянно и нетерпеливо оглядываться. Время от времени он спрашивал, куда ходит «Эспаньола», сколько берет груза, часто ли меня лупит дядя Гро и тому подобные пустяки. Видно было, что он скучает и грязенькая, тесная, как курятник, каюта ему противна. Он был совсем не похож на своего приятеля, задумчивого, снисходительного Дюрока, в присутствии которого эта же вонючая каюта казалась блестящей каютой океанского парохода. Этот нервный молодой человек стал мне еще меньше нравиться, когда назвал меня, может быть, по рассеянности, «Томми», — и я басом поправил его, сказав:

— Санди, Санди мое имя, клянусь Лукрецией!

Я вычитал, не помню где, это слово, непогрешимо веря, что оно означает неизвестный остров. Захотав, Эстамп схватил меня за ухо и вскричал: «Каково! Ее зовут Лукрецией, ах ты, волокита! Дюрок, слышите? — закричал он в окно. — Подругу Санди зовут Лукреция!»

Лишь впоследствии я узнал, как этот насмешливый, поверхностный человек отважен и добр, — но в этот момент я ненавидел его наглые усики.

— Не дразните мальчика, Эстамп, — ответил Дюрок.

Новое унижение! — от человека, которого я уже сделал своим кумиром. Я вздрогнул, обида стянула мое лицо, и, заметив, что я упал

духом, Эстамп вскочил, сел рядом со мной и схватил меня за руку, но в этот момент палуба поддала вверх, и он растянулся на полу. Я помог ему встать, внутренне торжествуя, но он выдернул свою руку из моей и живо вскочил сам, сильно покраснев, отчего я понял, что он самолюбив, как кошка. Некоторое время он молча и надувшись смотрел на меня, потом развеселился и продолжал свою болтовню.

В это время Дюрок прокричал: «Поворот!». Мы выскочили и перенесли паруса к левому борту. Так как мы теперь были под берегом, ветер дул слабее, но все же мы пошли с сильным боковым креном, иногда с всплесками волны на борту. Здесь пришло мое время держать руль, и Дюрок накинуд на мои плечи свой плащ, хотя я совершенно не чувствовал холода. «Так держать», — сказал Дюрок, указывая румб, и я молодцевато ответил: «Есть так держать!»

Теперь оба они были в каюте, и я сквозь ветер слышал кое-что из их негромкого разговора. Как сон он запомнился мной. Речь шла об опасности, потере, опасениях, чьей-то боли, болезни; о том, что «надо точно узнать». Я должен был крепко держать румпель и стойко держаться на ногах сам, так как волнение метало «Эспаньолу», как качель, поэтому за время вахты своей я думал больше удержать курс, чем что другое. Но я по-прежнему торопился доплыть, чтобы наконец узнать, с кем имею дело и для чего. Если бы я мог, я потащил бы «Эспаньолу» бегом, держа веревку в зубах.

Недолго побыв в каюте, Дюрок вышел, огонь его папиросы направился ко мне, и скоро я различил лицо, склонившееся над компасом.

— Ну что, — сказал он, хлопая меня по плечу, — вот мы подплываем. Смотри!

Слева, в тьме, стояла золотая сеть далеких огней.

— Так это и есть тот дом? — спросил я.

— Да. Ты никогда не бывал здесь?

— Нет.

— Ну, тебе есть что посмотреть.

Около получаса мы провели, обходя камни «Троячки». За береговым выступом набралось едва ветра, чтобы идти к небольшой бухте, и, когда это было наконец сделано, я увидел, что мы находимся у склона садов или рощ, расступившихся вокруг черной, огромной массы, неправильно помеченной огнями в различных частях. Был небольшой мол, по одну сторону его покачивались, как я рассмотрел, яхты.

Дюрок выстрелил, и немного спустя явился человек, ловко поймав причал, брошенный мной. Вдруг разлетелся свет, — вспыхнул на конце мола яркий фонарь, и я увидел широкие ступени, опускающиеся к воде, яснее различил рощи.

Тем временем «Эспаньола» ошвартовалась, и я опустил паруса. Я очень устал, но меня не клонило в сон; напротив, — резко, болезненно-весело и необъятно чувствовал я себя в этом неизвестном углу.

— Что, Ганувер? — спросил, прыгая на мол, Дюрок у человека, нас встретившего. — Вы нас узнали? Надеюсь. Идемте, Эстамп. Иди с нами и ты, Санди, ничего не случится с твоим суденышком. Возьми деньги, а вы, Том, проводите молодого человека обогреться и устройте его всесторонне, затем вам предстоит путешествие. — И он объяснил, куда отвести судно. — Пока прощай, Санди! Вы готовы, Эстамп? Ну, тронемся, и дай бог, чтобы все было благополучно.

Сказав так, он соединился с Эстампом, и они, сойдя на землю, исчезли влево, а я поднял глаза на Тома и увидел косматое лицо с огромной звериной пастью, смотревшее на меня с двойной высоты моего роста, склонив огромную голову. Он подбоченился. Его плечи закрыли горизонт. Казалось, он рухнет и раздавит меня.

III

Из его рта, ворочавшего, как жернов соломинку, пылающую искрами трубку, изошел мягкий, приятный голосок, подобный струйке воды.

— Ты капитан, что ли? — сказал Том, поворачивая меня к огню, чтобы рассмотреть. — У, какой синий!

Замерз?

— Черт побери! — сказал я. — И замерз, и голова идет кругом. Если вас зовут Том, не можете ли вы объяснить всю эту историю?

— Это какую же такую историю?

Том говорил медленно, как тихий, рассудительный младенец, и потому было чрезвычайно противно ждать, когда он договорит до конца.

— Какую же это такую историю? Пойдем-ка, поужинаем. Вот это будет, думаю я, самая хорошая история для тебя.

С этим его рот захлопнулся — словно упал трап. Он повернул и пошел на берег, сделал мне рукой знак следовать за ним.

От берега по ступеням, расположенным полукругом, мы поднялись в огромную прямую аллею и зашагали меж рядов гигантских деревьев. Иногда слева и справа блестел свет, показывая в глубине спутанных растений колонны или угол фасада с массивным узором карнизов. Впереди чернел холм, и, когда мы подошли ближе, он оказался группой человеческих мраморных фигур, сплетенных над колоссальной чашей в белеющую, как снег, группу. Это был фонтан. Аллея поднялась ступенями вверх; еще ступени — мы прошли дальше — указывали поворот влево, я поднялся и прошел арку внутреннего двора. В этом большом пространстве, со всех сторон и над головой ярко озаренном большими окнами, а также висячими фонарями, увидел я в первом этаже вторую арку поменьше, но достаточную, чтобы пропустить воз. За ней было светло, как днем; три двери с разных сторон, открытые настежь, показывали ряд коридоров и ламп, горевших под по-

толком. Заведя меня в угол, где, казалось, некуда уже идти дальше, Том открыл дверь, и я увидел множество людей вокруг очагов и плит; пар и жар, хохот и суматоха, грохот и крики, звон посуды и плеск воды; здесь были мужчины, подростки, женщины, и я как будто попал на шумную площадь.

— Пстой-ка, — сказал Том, — я поговорю тут с одним человеком, — и отошел, затерявшись. Тотчас я почувствовал, что мешаю, — меня толкнули в плечо, задели по ногам, бесцеремонная рука заставила отступить в сторону, а тут женщина стукнула по локтю тазом, и уже несколько человек крикнули ворчливо-поспешно, чтобы я убрался с дороги. Я тронулся в сторону и столкнулся с поваром, несшимся с ножом в руке, сверкая глазами, как сумасшедший. Едва успел он меня выругать, как толстоногая девчонка, спеша, растянулась на скользкой плите с корзиной, и прибор миндаля подлетел к моим ногам; в то же время трое, волоча огромную рыбу, отпихнули меня в одну сторону, повара — в другую и пробороздили миндаля рыбьим хвостом. Было весело, одним словом. Я, сказочный богач, стоял, зажав в кармане горсть золотых и беспомощно оглядываясь, пока наконец в случайном разрыве этих спешащих, бегающих, орущих людей не улучил момента отбежать к далекой стене, где сел на табурет и где меня разыскал Том.

— Пойдем-ка, — сказал он, заметно весело вытирая рот. На этот раз идти было недалеко; мы пересекли угол кухни и через две двери поднялись в белый коридор, где в широком помещении без дверей стояло несколько коек и простых столов.

— Я думаю, нам не помешают, — сказал Том и, вытащив из-за пазухи темную бутылку, степенно опрокинул ее в рот так, что булькнуло раза три. — Ну-ка выпей, а там принесут, что тебе надо, — и Том передал мне бутылку.

Действительно, я в этом нуждался. За два часа произошло столько событий, а главное, — так было все это непонятно, что мои нервы упали. Я не был собой; вернее, одновременно я был в гавани Лисса и здесь, так что должен был отделить прошлое от настоящего вразумляющим глотком вина, подобного которому не пробовал никогда. В это время пришел угловатый человек с сдавленным лицом и вздернутым носом, в переднике. Он положил на кровать пачку вещей и спросил Тома:

— Ему, что ли?

Том не удостоил его ответом, а взяв платье, передал мне, сказав, чтобы я одевался.

— Ты в лохмотьях, — говорил он, — вот мы тебя нарядим. Хорошенький ты сделал рейс, — прибавил Том, видя, что я опустил на тюфяк золото, которое мне было теперь некуда сунуть на себе. — Прими же приличный вид, поужинай и ложись спать, а утром можешь отправляться куда хочешь.

Заключение этой речи восстановило меня в правах, а то я уже начинал думать, что из меня будут, как из глины, лепить, что им вздумается. Оба мои пестуна сели и стали смотреть, как я обнажаюсь. Растерянный, я забыл о подлой татуировке и, сняв рубашку, только успел заметить, что Том, согнув голову в бок, трудится над чем-то очень внимательно.

Взглянув на мою голую руку, он провел по ней пальцем.

— Ты все знаешь? — пробормотал он, озадаченный, и стал хохотать, бесстыдно воззрившись мне в лицо. — Санди! — кричал он, тряся злополучную мою руку. — А знаешь ли ты, что ты парень с гвоздем?! Вот ловко! Джон, взгляни сюда, тут ведь написано бесстыднейшим образом: «Я все знаю»!

Я стоял, прижимая к груди рубашку, полуголый, и был так взбешен, что крики и хохот пестунов моих привлекли кучу народа и давно уже шли взаимные, горячие объяснения — «в чем дело», — а я только поворачивался, взглядом разя насмешников: человек десять набилось в комнату. Стоял гам: «Вот этот! Все знает! Покажите-ка ваш диплом, молодой человек». — «Как варят соус тортю?» — «Эй, эй, что у меня в руке?» — «Слушай, моряк, любит ли Тильда Джона?» — «Ваше образование, объясните течение звезд и прочие планеты!» — Наконец, какая-то замызганная девчонка с черным, как у воробья, носом, положила меня на обе лопатки, пропищав: — «Папочка, не знаешь ты, сколько трижды три?»

Я подвержен гневу, и если гнев взорвал мою голову, не много надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался». Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.

— Кто бросил деньги? — сухо спросил он. Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.

— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том, — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.

Вошедший был библиотекарь владельца дома Поп, о чем я узнал после.

— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?

— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.

— Так... а все-таки — может быть, хорошо все знать. — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были, хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.

— Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.

— При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрятывая свое богатство.

Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах, — искра неизвестных соображений. «Это хорошо, да...» — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда подвели меня за рукав к столу, Том показал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, — я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался вместе с едой усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю, — и что мне предстоит дальше? Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».

Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо, готовых подхватить «вилок», выйду и вернусь на «Эспаньолу», где на всю жизнь случай этот так и останется «случаем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «неразъясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску и, действительно, случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.

Однако ничего подобного пока мне не предстояло, — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной, — а, как я сказал, помещение было без двери, — ее заменял сводчатый широкий проход, — несколько человек, остановясь или сойдясь случайно, вели разговор, непонятный, но интересный, — вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:

— Ну что, опять, говорят, свалился?!

— Было дело, попили. Спят его, как пить дать, или сам сопьется.

— Да уж спился.

— Ему пить нельзя; а все пьют, такая компания.

— А эта шельма Дигэ чего смотрит?

— А ей-то что?!

— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амуры, а может быть, он на ней женится.

— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».

— Значит — пей, значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».

— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?

— Будь у меня такой домина, я пил бы на радостях.

— А что? Видел ты что-нибудь?

— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.

— Да, поэтому это есть секрет.

— А зачем секрет?

— Дурак! Завтра все будет открыто, понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кушиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.

— Стану ли я еще тебя спрашивать?!

Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:

— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда? Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль; Кваль клянется, что с вами шла из-за угла, где стеклянная лестница, молоденькая такая ухвертка и лицо покрыла платком.

Голос, в котором было больше мягкости и терпения, чем досады, ответил:

— Оставьте это, Том, прошу вас. Мне ли, старику, заводить шашни. Кваль любит выдумывать.

Тут они вышли и подошли ко мне, — спутник подошел ближе, чем Том. Тот остановился у входа, сказал:

— Да, не узнать парня. И лицо его стало другое, как поел. Видели бы вы, как он потемнел, когда прочитали его скоропечатную афишу.

Паркер был лакей, — я видел такую одежду, как у него, на картинах. Седой, стриженный, слегка лысый, плотный человек этот в белых чулках, синем фраке и открытом жилете носил круглые очки, слегка прищуривая глаза, когда смотрел поверх стекол. Умные морщинистые черты бодрой старухи, аккуратный подбородок и мелькающее сквозь привычную работу лица внутреннее спокойствие заставили меня думать, не есть ли старик главный управляющий дома, о чем я его и спросил. Он ответил:

— Кажется, вас зовут Сандерс. Идемте, Санди, и постарайтесь не производить меня в высшую должность, пока вы здесь не хозяин, а гость.

Я осведомился, не обидел ли я его чем-нибудь.

— Нет, — сказал он, — но я не в духе и буду придирааться ко всему, что вы мне скажете. Поэтому вам лучше молчать и не отставать от меня.

Действительно, он шел так скоро, хотя мелким шагом, что я следовал за ним с напряжением.

Мы прошли коридор до половины и повернули в проход, где за стеной, помеченная линией круглых световых отверстий, была винтовая лестница. Взираясь по ней, Паркер дышал хрипло, но и часто, однако быстроты не убавил. Он открыл дверь в глубокой каменной нише, и мы очутились среди пространств, сошедших, казалось, из стран великолепия воедино, — среди пересечения линий света и глубины, восставших из неожиданности. Я испытывал, хотя тогда не понимал этого, как может быть тронуте чувство формы, вызывая работу сильных впечатлений пространства и обстановки, где невидимые руки поднимают все выше и озареннее само впечатление. Это впечатление внезапной прекрасной формы было остро и ново. Все мои мысли высочили, став тем, что я видел вокруг. Я не подозревал, что линии, в соединении с цветом и светом, могут улыбаться, останавливать, задержать вздох, изменить настроение, что они могут произвести поворачивание внимания и странную неуверенность членов.

Иногда я замечал огромный венок мраморного камина, воздушную даль картины или драгоценную мебель в тени китайских чудовищ. Видя все, я не улавливал почти ничего. Я не помнил, как мы поворачивали, где шли. Взглянув под ноги, я увидел мраморную резьбу лент и цветов. Наконец Паркер остановился, расправил плечи и, подав грудь вперед, ввел меня за пределы огромной двери. Он сказал:

— Санди, которого вы желали видеть, — вот он, — затем исчез. Я обернулся — его не было.

— Подойдите-ка сюда, Санди, — устало сказал кто-то.

Я огляделся, заметив в туманно-синем, озаренном сверху пространстве, полном зеркал, блеска и мебели, несколько человек, расположившихся по диванам и креслам с лицами, повернутыми ко мне. Они были разбросаны, образуя неправильный круг. Вглядываясь, чтобы угадать, кто сказал «подойдите», я обрадовался, увидев Дюрока с Эстампом; они стояли, куря, подле камина и делали мне знаки приблизиться. Справа в большой качалке полулежал человек лет двадцати восьми, с бледным, приятным лицом, завернутый в плед, с повязкой на голове. Слева сидела женщина. Около нее стоял Поп. Я лишь мельком взглянул на женщину, так как сразу увидел, что она очень красива, и оттого смутился. Я никогда не помнил, как женщина одета, кто бы она ни была, так и теперь мог лишь заметить в ее темных волосах белые искры и то, что она охвачена прекрасным синим рисунком

хрупкого очертания. Когда я отвернулся, я снова увидел ее лицо про себя, — немного длинное, с ярким маленьким ртом и большими глазами, смотрящими как будто в тени.

— Ну, скажи, что ты сделал с моими друзьями? — произнес закутанный человек, морщась и потирая висок. — Они, как приехали на твоем корабле, так не перестают восхищаться твоей особой. Меня зовут Ганувер; садись, Санди, ко мне поближе.

Он указал кресло, в которое я и сел, — не сразу, так как оно все поддавалось и поддавалось подо мной, но наконец укрепился.

— Итак, — сказал Ганувер, от которого слегка пахло вином, — ты любишь «море и ветер»!

Я молчал.

— Не правда ли, Дигэ, какая сила в этих простых словах?! — сказал Ганувер молодой даме. — Они встречаются, как две волны.

Тут я заметил остальных. Это были двое немолодых людей. Один — нервный человек с черными баками, в пенсне с широким шнурком. Он смотрел выпукло, как кукла, не мигая и как-то странно дергая левой щекой. Его белое лицо в черных баках, выбритые губы, имевшие слегка надутый вид, и орлиный нос, казалось, подсмеиваются. Он сидел, согнув ногу треугольником на колене другой, придерживая верхнее колено прекрасными матовыми руками и рассматривая меня с легким сопением. Второй был старше, плотен, брит и в очках.

— Волны и эскадрильи! — громко сказал первый из них, не изменяя выражения лица и воззрясь на меня, рокочущим басом. — Бури и шквалы, брасы и контрабасы, тучи и циклоны; цейлоны, абордаж, бриз, муссон, Смит и Вессон!

Дама рассмеялась. Улыбнулись все остальные, только Дюрок остался, — с несколько мрачным лицом, — безучастным к этой шутке и, видя, что я вспыхнул, перешел ко мне, сев между мною и Ганувером.

— Что ж, — сказал он, кладя мне на плечо руку, — Санди служит своему призванию, как может. Мы еще поплывем, а?

— Далеко поплывем, — сказал я, обрадованный, что у меня есть защитник.

Все снова стали смеяться, затем между ними произошел разговор, в котором я ничего не понял, но чувствовал, что говорят обо мне, — легонько подсмеиваясь или серьезно — я не разобрал. Лишь некоторые слова, вроде «приятное исключение», «колоритная фигура», «стиль», запомнились мне в таком странном искажении смысла, что я отнес их к подробностям моего путешествия с Дюроком и Эстампом.

Эстамп обратился ко мне, сказав:

— А помнишь, как ты меня напоил?

— Разве вы напились?

— Ну как же, я упал и здорово стукнулся головой о скамейку. Признавайся, — «огненная вода», «клянусь Лукрецией!», — вскричал он, — честное слово, он поклялся Лукрецией! К тому же, он «все знает» — честное слово!

Этот предательский намек вывел меня из глупого оцепенения, в котором я находился; я подметил каверзную улыбку Попа, поняв, что это он рассказал о моей руке, и меня передернуло.

Следует упомянуть, что к этому моменту я был чрезмерно возбужден резкой переменой обстановки и обстоятельств, неизвестностью, что за люди вокруг и что будет со мной дальше, а также наивной, но твердой уверенностью, что мне предстоит сделать нечто особое именно в стенах этого дома, иначе я не восседал бы в таком блестящем обществе. Если мне не говорят, что от меня требуется, — тем хуже для них: опаздывая, они, быть может, рискуют. Я был высокого мнения о своих силах. Уже я рассматривал себя, как часть некоей истории, концы которой запряты. Поэтому, не переводя духа, сдвоенным голосом, настолько выразительным, что каждый намек достигал цели, я встал и отrapoportовал:

— Если я что-нибудь «знаю», так это следующее. Приметьте. Я знаю, что никогда не буду насмехаться над человеком, если он у меня в гостях и я перед тем делил с ним один кусок и один глоток. А главное, — здесь я разорвал Попа глазами на мелкие куски, как бумажку, — я знаю, что никогда не выболтаю, если что-нибудь увижу случайно, пока не справлюсь, приятно ли это будет кое-кому.

Сказав так, я сел. Молодая дама, пристально посмотрев на меня, пожалала плечами. Все смотрели на меня.

— Он мне нравится, — сказал Ганувер, — однако не надо ссориться, Санди.

— Посмотри на меня, — сурово сказал Дюрок; я посмотрел, увидел совершенное неодобрение и был рад провалиться сквозь землю. — С тобой шутили и ничего более. Пойми это!

Я отвернулся, взглянул на Эстампа, затем на Попа. Эстамп, несколько не обиженный, с любопытством смотрел на меня, потом, щелкнув пальцами, сказал: — «Ба!» и заговорил с неизвестным в очках. Поп, выждав, когда утих смешной спор, подошел ко мне.

— Экий вы горячий, Санди, — сказал он. — Ну, здесь нет ничего особенного, не волнуйтесь, только впредь обдумывайте ваши слова. Я вам желаю добра.

За все это время мне, как птице на ветке, был чуть замечен в отношении всех здесь собравшихся некий, очень замедленно проскальзывающий между ними тон выражаемой лишь взглядами и движениями тайной зависимости, подобной ускользающей из рук паутине. Сказался ли это преждевременный прилив нервной силы, перешедшей с годами в способность верно угадывать отношение к себе впервые встречаемых людей, — но только я очень хорошо чувствовал, что Ганувер думает одинаково с молодой дамой, что Дюрок, Поп и Эстамп отделены от всех, кроме Ганувера, особым, неизвестным мне, настроением и что, с другой стороны, — дама, человек в пенсне и человек в очках ближе друг к другу, а первая группа идет отдаленным кругом к неизве-

стной цели, делая вид, что остается на месте. Мне знакомо преломление воспоминаний, — значительную часть этой нервной картины я приписываю развитию дальнейших событий, к которым я был причастен, но убежден, что те невидимые лучи *состояний* отдельных людей и групп теперешнее ощущение хранит верно.

Я встал в мрачность от слов Попа; он уже отошел.

— С вами говорит Ганувер, — сказал Дюрок; встав, я подошел к калчке.

Теперь я лучше рассмотрел этого человека, с блестящими, черными глазами, рыжевато-курчавой головой и грустным лицом, на котором появилась редкой красоты тонкая и немного больная улыбка. Он всматривался так, как будто хотел порыться в моем мозгу, но, видимо, говоря со мной, думал о своем, очень, может быть, неотвязном и трудном, так как скоро перестал смотреть на меня, говоря с остановками:

— Так вот, мы это дело обдумали и решили, если ты хочешь. Ступай к Попу, в библиотеку, там ты будешь разбирать... — Он не договорил, что разбирать. — Нравится он вам, Поп? Я знаю, что нравится. Если он немного скандалист, то это полбеда. Я сам был такой. Ну, иди. Не бери себе в поверенные вино, милый ди-Сантьяно. Шкиперу твоему послан приятный воздушный поцелуй; все в порядке.

Я тронулся, Ганувер улыбнулся, потом крепко сжал губы и вздохнул. Ко мне снова подошел Дюрок, желая что-то сказать, как раздался голос Дигэ:

— Этот молодой человек не в меру строптив.

Я не знал, что она хотела сказать этим. Уходя с Попом, я отвесил общий поклон и, вспомнив, что ничего не сказал Гануверу, вернулся. Я сказал, стараясь не быть торжественным, но все же слова мои прозвучали, как команда в игре в солдатики.

— Позвольте принести вам искреннюю благодарность. Я очень рад работе, эта работа мне очень нравится. Будьте здоровы.

Затем я удалился, унося в глазах добродушный кивок Ганувера и думая о молодой даме с глазами в тени. Я мог бы теперь без всякого смущения смотреть в ее прихотливо-красивое лицо, имевшее выражение, как у человека, которому быстро и тайно шепчут на ухо.

IV

Мы перешли электрический луч, падавший сквозь высокую дверь на ковер неосвещенной залы, и, пройдя далее коридором, попали в библиотеку. С трудом удерживался я от желания идти на носках — так я казался сам себе громок и неуместен в стенах таинственного дворца. Нечего говорить, что я никогда не бывал не только в таких зданиях, хотя о них много читал, но не был даже в обыкновенной красиво обставленной квартире. Я шел разинув рот. Поп вежливо направлял меня, но, кроме «туда», «сюда», не говорил ничего. Очувтившись в биб-

лиотеке — круглой зале, яркой от света огней, в хрупком, как цветы, стекле, — мы стали друг к другу лицом и устали смотреть, — каждый на новое для него существо. Поп был несколько в замешательстве, но привычка владеть собой скоро развязала ему язык.

— Вы отличились, — сказал он, — похитили судно; славная штука, честное слово!

— Едва ли я рисковал, — ответил я, — мой шкипер, дядюшка Гро, тоже, должно быть, не в накладе. А скажите, почему они так торопились?

— Есть причины! — Поп подвел меня к столу с книгами и журналами. — Не будем говорить сегодня о библиотеке, — продолжал он, когда я уселся. — Правда, что я за эти дни все запустил, — материал задержался, но нет времени. Знаете ли вы, что Дюрок и другие в восторге? Они находят вас... вы... одним словом, вам повезло. Имели ли вы дело с книгами?

— Как же, — сказал я, радуясь, что могу, наконец, удивить этого изящного юношу. — Я читал много книг. Возьмем, например, «Роб-Роя» или «Ужас таинственных гор»; потом «Всадник без головы»...

— Простите, — перебил он, — я заговорился, но должен идти обратно. Итак, Санди, завтра мы с вами приступим к делу, или, лучше, — послезавтра. А пока я вам покажу вашу комнату.

— Но где же я и что это за дом?

— Не бойтесь, вы в хороших руках, — сказал Поп. — Имя хозяина Эверест Ганувер, я — его главный поверенный в некоторых особых делах. Вы не подозреваете, каков этот дом.

— Может ли быть, — вскричал я, — что болтовня на «Мелузине» суцая правда?

Я рассказал Попу о вечернем разговоре матросов.

— Могу вас заверить, — сказал Поп, — что относительно Ганувера все это выдумка, но верно, что такого другого дома нет на земле. Впрочем, может быть, вы завтра увидите сами. Идемте, дорогой Санди, вы, конечно, привыкли ложиться рано и устали. Осваивайтесь с переменной судьбы.

«Творится невероятное», — подумал я, идя за ним в коридор, примыкавший к библиотеке, где были две двери.

— Здесь помещаюсь я, — сказал Поп, указывая одну дверь, и, открыв другую, прибавил: — А вот ваша комната. Не робейте, Санди, мы все люди серьезные и никогда не шутим в делах, — сказал он, видя, что я, смущенный, отстал. — Вы ожидаете, может быть, что я введу вас в позолоченные чертоги (а я как раз так и думал)? Далеко нет. Хотя жить вам будет здесь хорошо.

Действительно, это была такая спокойная и большая комната, что я ухмыльнулся. Она не внушала того доверия, какое внушает настоящая ваша собственность, например, перочинный нож, но так приятно охватывала входящего. Пока что я чувствовал себя гостем этого отлич-

ного помещения с зеркалом, зеркальным шкапом, ковром и письменным столом, не говоря о другой мебели. Я шел за Попом с сердцебие-нием. Он толкнул дверь вправо, где в более узком пространстве находилась кровать и другие предметы роскошной жизни. Все это с изысканной чистотой и строгой приветливостью призывало меня бросить последний взгляд на оставляемого позади дядюшку Гро.

— Я думаю, вы устроитесь, — сказал Поп, оглядывая помеще-ние. — Несколько тесновато, но рядом библиотека, где вы можете быть сколько хотите. Вы пошлете за своим чемоданом завтра.

— О да, — сказал я, нервно хихикнув. — Пожалуй, что так. И чемо-дан и все прочее.

— У вас много вещей? — благосклонно спросил он.

— Как же! — ответил я. — Одних чемоданов с воротничками и смо-кингами около пяти.

— Пять?.. — Он покраснел, отойдя к стене у стола, где висел шнур с ручкой, как у звонка. — Смотрите, Санди, как вам будет удобно есть и пить: если вы потянете шнур один раз, — по лифту, устроенному в стене, поднимется завтрак. Два раза — обед, три раза — ужин; чай, вино, кофе, папиросы вы можете получить когда угодно, пользуясь этим телефоном. — Он растолковал мне, как звонить в телефон, затем сказал в блестящую трубку: — Алло! Что? Ого, да, здесь новый жи-лец. — Поп обернулся ко мне. — Что вы желаете?

— Пока ничего, — сказал я с стесненным дыханием. — Как же едят в стене?

— Боже мой! — Он встрепенулся, увидев, что бронзовые часы пи-сьменного стола указывают 12. — Я должен идти. В стене не едят, ко-нечно, но... но открывается люк, и вы берете. Это очень удобно, как для вас, так и для слуг... Решительно ухожу, Санди. Итак, вы — на ме-сте, и я спокоен. До завтра.

Поп быстро вышел; еще более быстрыми услышал я в коридоре его шаги.

V

Итак, я остался один.

Было от чего сесть. Я сел на мягкий, предупредительно пружини-стый стул; перевел дыхание. Потикиванье часов вело многозначитель-ный разговор с тишиной.

Я сказал: «Так, здорово. Это называется влипнуть. Интересная ис-тория». Обдумать что-нибудь стройно у меня не было сил. Едва поя-вилась связная мысль, как ее честью просила выйти другая мысль. Все вместе напоминало кручение пальцами шерстяной нитки. Черт побе-ри! — сказал я наконец, стараясь во что бы то ни стало овладеть собой, и встал, жажда вызвать в душе солидную твердость. Получилась смя-тость и рыхлость. Я обошел комнату, механически отмечая: — Кресло,

диван, стол, шкаф, ковер, картина, шкаф, зеркало. — Я заглянул в зеркало. Там металось подобие франтоватого красного мака с блаженно-перекошенными чертами лица. Они достаточно точно отражали мое состояние. Я обошел все помещение, снова заглянул в спальню, несколько раз подходил к двери и прислушивался, не идет ли кто-нибудь, с новым смятением моей душе. Но было тихо. Я еще не переживал такой тишины — отстоявшейся, равнодушной и утомительной. Чтобы как-нибудь перекинуть мост меж собой и новыми ощущениями, я вынул свое богатство, сосчитал монеты, — тридцать пять золотых монет, — но почувствовал себя уже совсем дико. Фантазия моя обострилась так, что я отчетливо видел сцены самого противоположного значения. Одно время я был потерянным наследником знатной фамилии, которому еще не находят почему-то удобным сообщить о его величии. Контрастом сей блистательной гипотезе явилось предположение некой мрачной затеи, и я не менее основательно убедил себя, что стоит заснуть, как кровать нырнет в потайной трап, где при свете факелов люди в масках приставят мне к горлу отравленные ножи. В то же время врожденная моя предусмотрительность, держа в уме все слышанные и замеченные обстоятельства, тянула к открытиям по половице «куй железо, пока горячо». Я вдруг утратил весь свой жизненный опыт, исполнившись новых чувств с крайне занимательными тенденциями, но вызванными все же бессознательной необходимостью действия в духе своего положения.

Слегка помешавшись, я вышел в библиотеку, где никого не было, и обошел ряды стоящих перпендикулярно к стенам шкапов. Время от времени я нажимал что-нибудь: дерево, медный гвоздь, резьбу украшений, холодея от мысли, что потайной трап окажется на том месте, где я стою. Вдруг я услышал шаги, голос женщины, сказавший: «Никого нет», — и голос мужчины, подтвердивший это угрюмым мычанием. Я испугался — метнулся, прижавшись к стене между двух шкапов, где еще не был виден, но, если бы вошедшие сделали пять шагов в эту сторону, — новый помощник библиотекаря, Санди Пруэль, явился бы их взору, как в засаде. Я готов был скрыться в ореховую скорлупу, и мысль о шкапе, очень большом, с глухой дверью без стекол была при таком положении совершенно разумной. Дверца шкапа не была прикрыта совсем плотно, так что я оттащил ее ногтями, думая хотя стать за ее прикрытием, если шкаф окажется полон. Шкап должен был быть полон, — в этом я давал себе судорожный отчет, и, однако, он оказался пуст, спасительно пуст. Его глубина была достаточной, чтобы стать рядом троим. Ключи висели внутри. Не касаясь их, чтобы не звякнуть, я притянул дверь за внутреннюю планку, отчего шкаф моментально осветился, как телефонная будка. Но здесь не было телефона, не было ничего. Одна лакированная геометрическая пустота. Я не прикрыл двери плотно, опять-таки опасаясь шума, и стал, весь дрожа, прислушиваться. Все это произошло значительно быстрее, чем сказано, и,

дико оглядываясь в своем убежище, я услышал разговор вошедших людей.

Женщина была Дигэ, — с другим голосом я никак не смешал бы ее замедленный голос особого оттенка, который бесполезно передавать, по его лишь ей присущей хладнокровной музыкальности. Кто мужчина — догадаться не составляло особого труда: мы не забываем голоса, язвившего нас. Итак, вошли Галуэй и Дигэ.

— Я хочу взять книгу, — сказала она подчеркнуто громко. Они переходили с места на место.

— Но здесь, действительно, нет никого, — проговорил Галуэй.

— Да. Так вот, — она словно продолжала оборванный разговор, — это непременно случится.

— Ого!

— Да. В бледных тонах. В виде паутинных душевных прикосновений. Негреющее осеннее солнце.

— Если это не самомнение.

— Я ошибаюсь?! Вспомни, мой милый, Ричарда Брюса. Это так естественно для него.

— Так. Дальше! — сказал Галуэй. — А обещание?

— Конечно. Я думаю, через нас. Но не говорите Томсону. — Она рассмеялась. Ее смех чем-то оскорбил меня. — Его выгоднее для будущего держать на втором плане. Мы выделим его при удобном случае. Наконец просто откажемся от него, так как положение перешло к нам. Дай мне какую-нибудь книгу... на всякий случай... Прелестное издание, — продолжала Дигэ тем же намеренно громким голосом, но, расхвалив книгу, перешла опять в сдержанный тон: — Мне показалось, должно быть. Ты уверен, что не подслушивают? Так вот, меня беспокоят... эти... эти.

— Кажется, старые друзья; кто-то кому-то спас жизнь или в этом роде, — сказал Галуэй. — Что могут они сделать, во всяком случае?!

— Ничего, но это сбивает.

Далее я не расслышал.

— Заметь. Однако пойдем, потому что твоя новость требует размышления. Игра стоит свеч. Тебе нравится Ганувер?

— Идиот!

— Я задал неделовой вопрос, только и всего.

— Если хочешь знать. Даже скажу больше, — не будь я так хорошо вышколена и выветрена, в складках сердца где-нибудь мог бы завестись этот самый микроб, — страстишка. Но бедняга слишком... последнее перевешивает. Втюриться совершенно невыгодно.

— В таком случае, — заметил Галуэй, — я спокоен за исход предприятия. Эти оригинальные мысли придадут твоему отношению необходимую убедительность, совершенствуют ложь. Что же мы будем говорить Томсону?

— То же, что и раньше. Вся надежда на тебя, дядюшка «Вас-ис-дас». Только он ничего не сделает. Этот кинематографиче-

ский дом выстроен так конспиративно, как не снилось никаким Медичи.

— Он влопается.

— Не влопается. За это-то я ручаюсь. Его ум стоит моего, — по своей линии.

— Идем. Что ты взяла?

— Я поищу, нет ли... Замечательно овладеваешь собой, читая такие книги.

— Ангел мой, сумасшедший Фридрих никогда не написал бы своих книг, если бы прочел только тебя.

Дигэ перешла часть пространства, направляясь в мою сторону. Ее быстрые шаги, стихнув, вдруг зазвучали, как показалось мне, почти у самого шкапа. Каким ни был я новичком в мире людей, подобных жителям этого дома, но тонкий мой слух, обостренный волнениями этого дня, фотографически точно отметил сказанные слова и вылушил из непонятного все подозрительные места. Легко представить, что могло произойти в случае открытия меня здесь. Как мог осторожно и быстро, я совсем прикрыл щели двери и прижался в угол. Но шаги остановились на другом месте. Не желая испытать снова такой страх, я бросился шарить вокруг, ища выхода — куда! — хотя бы в стену. И тут я заметил справа от себя, в той стороне, где находилась стена, узкую металлическую защелку неизвестного назначения. Я нажал ее вниз, вверх, вправо, в отчаянии, с смелой надеждой, что пространство расширится, — безрезультатно. Наконец, я повернул ее влево. И произошло, — ну, не прав ли я был в самых сумасбродных соображениях своих? — произошло то, что должно было произойти здесь. Стена шкапа бесшумно отступила назад, напугав меня меньше, однако, чем только что слышанный разговор, и я скользнул на блеск узкого, длинного, как квартал, коридора, озаренного электричеством, где было, по крайней мере, куда бежать. С неистовым восторгом повел я обеими руками тяжелый вырез стены на прежнее место, но он пошел, как на роликах, и так как он был размером точно в разрез коридора, то не осталось никакой щели. Сознательно я прикрыл его так, чтобы не открыть даже мне самому. Ход исчез. Меж мной и библиотекой стояла глухая стена.

VI

Такое сожжение кораблей немедленно отозвалось в сердце и уме, — сердце перевернулось, и я увидел, что поступил опрометчиво. Пробовать снова открыть стену библиотеки не было никаких оснований, — перед глазами моими был тупик, выложенный квадратным камнем, который не понимал, что такое «Сезам», и не имел пунктов, вызывающих желание нажать их. Я сам захлопнул себя. Но к этому огорчению примешивался возвышенный полустрах (вторую половину

назовем ликование) — быть одному в таинственных запретных местах. Если я чего опасался, то единственно — большого труда выбраться из тайного к явному; обнаружение меня здесь хозяевами этого дома я немедленно смягчил бы рассказом о подслушанном разговоре и вытекающем отсюда желании скрыться. Даже не очень сметливый человек, услышав такой разговор, должен был настроиться подозрительно. Эти люди, ради целей, — откуда мне знать — каких? — беседовали секретно, посмеиваясь. Надо сказать, что заговоры вообще я считал самым нормальным явлением и был бы очень неприятно задет отсутствием их в таком месте, где обо всем надо догадываться; я испытывал огромное удовольствие, — более, — глубокое интимное наслаждение, но оно, благодаря крайне напряженному сцеплению обстоятельств, втянувших меня сюда, давало себя знать, кроме быстрого вращения мыслей, еще дрожью рук и колен; даже когда я открывал, а потом закрывал рот, зубы мои лязгали, как медные деньги. Немного постояв, я осмотрел еще раз этот тупик, пытаясь установить, где и как отделяется часть стены, но не заметил никакой щели. Я приложил ухо, не слыша ничего, кроме трений о камень самого уха, и, конечно, не постучал. Я не знал, что происходит в библиотеке. Быть может, я ждал недолго, может быть, прошло лишь пять, десять минут, но, как это бывает в таких случаях, чувства мои опередили время, насчитывая такой срок, от которого нетерпеливой душе естественно переходить к действию. Всегда, при всех обстоятельствах, как бы согласно я ни действовал с кем-нибудь, я оставлял кое-что для себя и теперь тоже подумал, что надо воспользоваться свободой в собственном интересе, вдосталь насладиться исследованиями. Как только искушение завляло хвостом, уже не было для меня удержу стремиться всем существом к сногшибательному соблазну. Издавна страстью моей было бродить в неизвестных местах, и я думаю, что судьба многих воров обязана тюремной решеткой вот этому самому чувству, которому все равно, — чердак или пустырь, дикие острова или неизвестная чужая квартира. Как бы там ни было, страсть проснулась, заиграла, и я решительно поспешил прочь.

Коридор был в ширину с полметра да еще, пожалуй, и дюйма четыре сверх того; в высоту же достигал четырех метров; таким образом, он представлялся длинной, как тротуар, скважиной, в дальний конец которой было так же странно и узко смотреть, как в глубокий колодец. По разным местам этого коридора, слева и справа, виднелись темные вертикальные черты — двери или сторонние проходы, стынувшие в нем свете. Далекий конец звал, и я бросился навстречу скрытым чудодейственным таинствам.

Стены коридора были выложены снизу до половины коричневым кафелем, пол — серым и черным в шашечном порядке, а белый свод, как и остальная часть стен до кафеля, на правильном расстоянии друг от друга блестел выгнутыми круглыми стеклами, прикрывающими

электрические лампы. Я прошел до первой вертикальной черты слева, принимая ее за дверь, но вблизи увидел, что это узкая арка, от которой в темный, неведомой глубины низ сходит узкая витая лестница с сквозными чугунными ступенями и медными перилами. Оставив исследование этого места, пока не обегу возможно большего пространства, чтобы иметь сколько-нибудь общий взгляд для обсуждения походов в дальнейшем, я поторопился достигнуть отдаленного конца коридора, мельком взглядывая на открывающиеся по сторонам ниши, где находил лестницы, подобные первой, с той разницей, что некоторые из них вели вверх. Я не ошибусь, если обозначу все расстояние от конца до конца прохода в 250 футов, и когда я пронесся по всему расстоянию, то, обернувшись, увидел, что в конце, оставленном мной, ничто не изменилось, следовательно, меня не собирались ловить.

Теперь я находился у пересечения конца прохода другим, совершенно подобным первому, под прямым углом. Как влево, так и вправо открывалась новая однообразная перспектива, все так же неправильно помеченная вертикальными чертами боковых ниш. Здесь мной овладело, так сказать, равновесие намерения, потому что ни в одной из предстоящих сторон или крыльев поперечного прохода не было ничего отличающего их одну от другой, ничего, что могло бы обусловить выбор, — они были во всем и совершенно равны. В таком случае довольно оброненной на полу пуговицы или иного подобного пустяка, чтобы решение «куда идти» выскочило из вязкого равновесия впечатлений. Такой пустяк был бы толчком. Но, посмотрев в одну сторону и обернувшись к противоположной, можно было одинаково легко представить правую сторону левой, левую правой или наоборот. Странно сказать, я стоял неподвижно, озираясь и не подозревая, что некогда осел между двумя стогами сена огорчился, как я. Я словно прирос. Я делал попытки двигаться то в одну, то в другую сторону и неизменно останавливался, начиная решать снова то, что еще никак не было решено. Возможно ли изобразить эту физическую тоску, это странное и тупое раздражение, в котором я отдавал себе отчет даже тогда; колеблясь беспомощно, я чувствовал, как начинает подкрадываться, уже затемняя мысли, страх, что я останусь стоять всегда. Спасение было в том, что я держал левую руку в кармане куртки, вертя пальцами горсть монет. Я взял одну из них и бросил ее налево, с целью вызвать решительное усилие; она покатилась; и я отправился за ней только потому, что надо было ее поднять. Догнав монету, я начал одолевать второй коридор с сомнениями, не предстанет ли его конец пересеченным так же, как там, откуда я едва ушел, так расстроюсь, что еще слышал сердцебиение.

Однако придя в этот конец, я увидел, что занимаю положение замысловатее прежнего, — ход замыкался в тупик, то есть был ровно обрзан совершенно глухой стеной. Я повернул вспять, рассматривая

стенные отверстия, за которыми, как и прежде, можно было различить опускающиеся в тень ступени. Одна из ниш имела не железные, а каменные ступени, числом пять; они вели к глухой, плотно закрытой двери, однако когда я ее толкнул, она подалась, впустив меня в тьму. Зажегши спичку, увидел я, что стою на нешироком пространстве четырех стен, обведенных узкими лестницами, с меньшими наверху площадками, примыкающими к проходным аркам. Высоко вверху тянулись другие лестницы, соединенные перекрестными мостиками.

Цели и ходы этих сплетений я, разумеется, не мог знать, но имея как раз теперь обильный выбор всяческих направлений, подумал, что хорошо было бы вернуться. Эта мысль стала особенно заманчива, когда спичка потухла. Я истратил вторую, но не забыл при этом высмотреть выключатель, который оказался у двери, и повернул его. Таким образом обеспечив свет, я стал снова смотреть вверх, но здесь, обронив коробку, нагнулся. Что это?! Чудовища сошлись ко мне из породившей их тайны или я головокружительно схожу с ума? Или бред овладел мной?

Я так затрясся, мгновенно похолодев в муке и тоске ужаса, что, бессильный выпрямиться, уперся руками в пол и грохнулся на колени, внутренне визжа, так как не сомневался, что провалюсь вниз. Однако этого не случилось. У моих ног я увидел разбросанные бессмысленные глаза существ с мордами, напоминающими страшные маски. Пол был прозрачен. Воткнувшись под ним вверх к самому стеклу, торчало устремленное на меня множество глаз с зловещей окраской; круг странных контурных вывертов, игл, плавников, жабр, колючек; иные, еще более дикие, всплывали снизу, как утыканные гвоздями пузыри или ромбы. Их медленный ход, неподвижность, сонное шевеление, среди которого вдруг прорезывало зеленую полутьму некое гибкое, вертлявое тело, отскакивая и кидаясь как мяч, — все их движения были страшны и дики. Цепenea, чувствовал я, что повалюсь и скончаюсь от перерыва дыхания. На счастье мое, взорванная таким образом мысль поспешила соединить указания вещественных отношений, и я сразу понял, что стою на стеклянном потолке гигантского аквариума, достаточно толстом, чтобы выдержать падение моего тела.

Когда смятение улеглось, я, высунув язык рыбам в виде мести за их пучеглазое наваждение, растянулся и стал жадно смотреть. Свет не проникал через всю массу воды; значительная часть ее — нижняя — была затенена внизу, отделяя вверху уступы искусственных гротов и коралловых разветвлений. Над этим пейзажем шевелились медузы и неизвестно что, подобное висячим растениям, привешенным к потолку. Подо мной всплывали и погружались фантастические формы, светя глазами и блестя заостренными со всех сторон панцирями. Я теперь не боялся; вдоволь насмотревшись, я встал и пробрался к лестнице; шагая через ступеньку, поднялся на ее верхнюю площадку и вошел в новый проход.

ДОРОГА НИКУДА

Часть I

ГЛАВА I

Лет двадцать назад в Покете существовал небольшой ресторан, такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там десять столиков, могущих одновременно питать человек тридцать, но даже половины сего числа никогда не сидело за ними. Между тем помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор, посуда мылась и вытиралась тщательно, ножи и ложки никогда не пахли салом, кушанья, приготовляемые из отличной провизии, по количеству и цене должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. Четыре картины в золоченых рамах являли по голубым обоям четыре времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся, с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» — хижину среди снежных сугробов. «Осень» озадачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая — «Зима» — могла заставить нервного человека задуматься над отношением действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся потом в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времен года, под каждой картиной стояла надпись, сделанная черными наклейными буквами, внизу рам.

Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери, со стороны улицы, висело меню — обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз пять протирал очки, если носил их, если же не носил очков, — его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол.

Вот это меню в день начала событий:

Ресторан «Отвращение»

- 1. Суп несъедобный, пересоленный.*
- 2. Консоле «Дрянь».*
- 3. Бульон «Ужас».*

4. Камбала «Горе».
5. Морской окунь с туберкулезом.
6. Ростбиф жесткий, без масла.
7. Котлеты из вчерашних остатков.
8. Яблочный пудинг, прогоркший.
9. Пирожное «Уберите!».
10. Крем сливочный, скисший.
11. Тартинки с гвоздями.

Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст:

«К услугам посетителей неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость».

Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузен, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно.

Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опустив глаза.

Повар сидел на кухне, и ему было смешно.

Из толпы выделился молчаливый человек с густыми бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей.

— К сожалению, — сказал Кишлот, — мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок.

— Старый дурак! — сказал человек и ушел.

До вечера никого не было. В шесть часов явились члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял; Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину:

— Итак, это только реклама?

— Да, — ответил Кишлот. — Мой расчет основан на приятном после неприятного.

Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк; он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил.

— Это что? Шутка? — с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость.

— Как хотите, — сказал Кишлот. — Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства.

— Нехорошо, — сказал толстяк.

— Но...

— Нет, нет, пожалуйста! Это крайне скверно, возмутительно!

— В таком случае...

— Очень, очень нехорошо, — повторил толстяк и вышел.

В девять часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет.

— Малодушный! — сказал ему Кишлот.

Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу, Тиррея Давенанта, который искал работу. Переговорив с Давенантом, Кишлот заполучил преданного слугу. Хозяин импонировал мальчику. Тиррей восхищался дерзаниями Кишлота. При малом числе посетителей служить в «Отвращении» было нетрудно. Давенант часами сидел за книгой, а Кишлот размышлял, чем привлечь публику..

Повар пил кофе, находил, что все к лучшему, и играл в шашки с кузиной.

Впрочем, у Кишлота был один постоянный клиент. Он, раз зайдя, приходил теперь почти каждый день,— Орт Галеран, человек сорока лет, прямой, сухой, крупно шагающий, с внушительной тростью из черного дерева. Темные баки на его остром лице спускались от висков к подбородку. Высокий лоб, изогнутые губы, длинный, как повисший флаг, нос и черные презрительные глаза под тонкими бровями обращали внимание женщин. Галеран носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а шею повязывал желтым платком. Состояние его платья, всегда тщательно вычищенного, указывало, что он небогат. Уже три дня Галеран приходил с книгой,— при этом курил трубку, табак для которой варил сам, мешая его со сливами и шалфеем. Давенанту нравился Галеран. Заметив любовь мальчика к чтению, Галеран иногда приносил ему книги.

В разговорах с Кишлотом Галеран безжалостно критиковал его манеру рекламы.

— Ваш расчет,— сказал он однажды,— неверен, потому что люди глупо доверчивы. Низкий, даже, средний ум, читая ваше меню под сенью вывески «Отвращение», в глубине души верит тому, что вы объявляете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек просто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело, если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы то нормальное число посетителей, какое полагается для такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить. Вся реклама мира основана на трех принципах: «хорошо, много и даром». Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Были ли у вас какие-нибудь иные опыты?

— Десять лет я пытаюсь разбогатеть,— ответил Кишлот.— Нельзя сказать, чтобы я придумывал плохо. Мне не везет. В моих планах чего-то не хватает.

— Не хватает Кишлотов,— смеясь, сказал Галеран.— Драгоценный фантазер, будь в городе только две тысячи Кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и приказывали жестом руки. Расскажите, в чем вам не повезло.

Кишлот махнул рукой и перечислил свои походы на общественный кошелек.

— Я держал,— сказал он,— булочную, кофейную и зеркальный магазин. Магазин имел вывеску. «Все красивы», — а в объявлении на окне говорилось, что из десяти женщин, купивших у меня зеркало, девять немедленно находят себе мужа. Вот вам пример рекламы вашего типа! Дело не пошло. Торгуя булками, я объявил, что запекаю в каждую тысячную булку золотую монету. Была давка у дверей по утрам, но произошло так, что в конце недели одна монета оказалась фальшивой, и я познакомился со следственными властями. Кафе «Ручеек» было устроено, как настоящий ручеек: среди цветов, по жестяному руслу текло горячее кофе с сахаром и молоком. Каждый зачерпывал сам. Но все думали, что поутру в это русло сметают пыль. Теперь — «Отвращение». Я рассчитывал, что город взбесится от интереса, а между тем моя торговля вводит меня в убыток.

— Вполне понятно,— сказал Галеран.— Я уже изложил вам свое мнение на этот счет. Тиррей, принеси мне еще стакан кофе.

Давенант принес кофе и увидел, что у ресторана «Отвращение» остановился шегольской экипаж, управляемый кучером, усеянным блестящими пуговицами. Из экипажа вышли две девушки в сопровождении остроносой и остроглазой дамы, имевшей растерянный вид. Кишлот подбежал к двери, отвесив низкий поклон. Галеран задумчиво наблюдал эту сцену, а Давенант смутился, увидев девушек, несомненно принадлежащих к обществу, красивых и смеющихся, одетых в белые костюмы, белые шляпы, белые чулки и туфли, под зонтиками вишневого цвета. Одну из них еще рано было называть девушкой, так как ей было двенадцать лет, вторая же, семнадцатилетняя, никак не могла быть кем-нибудь иным, как девушкой.

Их спутница вскричала:

— Роэна! Элли! Я решительно протестую! Посмотрите на вывеску! Я запрещаю входить сюда.

— Но мы уже вошли,— сказала девочка, которую звали Элли. — На вывеске стоит «Отвращение». Я хочу самого отвратительного!

Пока она говорила, Роэна пожалала плечами и, гордо подняв голову, переступила запретный порог.

— Надеюсь, вы не будете применять силу? — спросила она пожилую даму.

— Я запрещаю! — беспомощно повторила гувернантка, тащась за девушками.

Сметливый Кишлот обратился к Элли:

— Если маленькая барышня хочет, чтобы их старшая сестрица пожаловали, она должна ей сказать, что «Отвращение» только для виду, а кушать здесь одно удовольствие.

Гувернантка Урания Тальберг, изумленная словами Кишлота, но ими же и смягченная, так как ей польстило быть хотя на один миг сестрой хороших девушек, возразила:

— Вы ошибаетесь, любезный, так как я наставница этих своевольных детей. Надеюсь, вы не заставите нас приглашать доктора после вашей стряпни?

— Если он и будет приглашен вами, — воскликнул Кишлот, — то лишь затем, чтобы провозгласить чудесный цвет лица трех леди, а также их бесподобный пульс.

— Ну, посмотрим, — снисходительно отозвалась Урания, присаживаясь к столу, где уже сидели Элли и Роэна. Они осматривались, а Давенант смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. Такие создания не могли есть из обыкновенных тарелок, но в ресторане не было золотых блюд.

На его выручку Кишлот бросился подавать сам, мечтая уже, что ресторан «Отвращение» стал модным местом, куда стекаются кареты и автомобили.

— Вот, мы сели, — сказала Урания. — Что же дальше?

— Что это значит? — спросила Роэна, строго указывая на меню, где значилось: «Тартинки с гвоздями».

— Тартинки с гвоздями, — объяснил Кишлот, — это такие тартинки, в которых нет ничего, кроме хлеба, масла, ветчины, икры или варенья. А относительно гвоздей написано для тех, кто — как бы сказать? — любопытен...

— Вроде нас, — перебила Элли. — Действительно, мы любопытны, но нам нисколько не стыдно!

— Элли! — застонала Урания.

— Многоуважаемая Урания Тальберг, — ответила непокорная девочка, — папа сказал, что сегодня мы можем делать решительно все, что хотим. Глупо было бы, если бы мы не воспользовались... Хозяин!

— Я здесь, барышня.

— Свариваются ли гвозди в желудке? И какой они толщины?

— Хозяин шутит, — решил вставить Давенант, чувствовавший себя так хорошо и неловко, что не знал, как приступить к своим обязанностям.

— Но мы тоже шутим, — ответила Элли, внимательно смотря на него. — Нам весело. Значит, ничего такого не будет? Очень жаль. В таком случае принесите мне молока.

— Чашку молока! — повторили Давенант и Кишлот.

— Чашку кофе и печенье, — заявила Роэна.

— Печенье! кофе! молоко! — закричал Давенант и, бросившись на кухню, чуть не сшиб хозяина, предоставив ему попытаться, не желает ли чего-нибудь гувернантка. Он вскочил на кухню и стал трястись от нетерпения над головой повара, который, торопясь, пролил кофе и расплескал молоко. Пока Давенант добывал эту пищу для фей, Кишлот принес сахар, печенье, салфетки и, удостоившись от Урании Тальберг приказания подать стакан холодной воды, явился с ним из-за стойки гордо и строго, дунув на стакан неизвестно зачем и каждому движению придав характер события. Все это очень забавляло де-

вушек, вызывая свет смеха в их лицах и терзая гувернантку, стремившуюся поскорее оставить «вертеп».

Давенант вбежал, таща поднос с кофе и молоком. Заботливо расставил он чашки, опасаясь задеть необыкновенные существа, около которых метался так близко. Он отошел к буфету и стал жадно смотреть.

— Рой,— неосторожно сказала Элли сестре, подмигивая в сторону Галерана, сидевшего неподалеку от девушек,— вот там один из отравившихся пищей дома сего.

— Отравился и умер, и похоронили его,— громко подхватил засмеявшийся Галеран.

— Ах! — вздрогнула гувернантка.

— Элли! — зашипела Роэна.

Девочка, услышав голос осмеянного незнакомца, увела голову в плечи, глаза ее стали круглы и неподвижны. Вцепившись руками в чашку, чтобы не завизжать от хохота, она стиснула колени, скрючив пальцы ног, и, вспотев, пересилила себя.

— Уф-ф! Уф-ф! — едва слышно отдышалась Элли сквозь зубы.

Урания поблдедела.

— Довольно! — заявила она, дрожа от негодования. — Какой стыд!

— Извините,— гордо обратилась Роэна к Галерану.— Моя сестра очень несдержанна.

— Эх ты! — горестно прошептала Элли.

— Я рад видеть детей Футроза,— добродушно ответил Галеран.— Я страшно рад, что вам весело. Мне самому стало весело.

— Как, вы нас знаете?! — вскричала Элли.

— Да, я знаю, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет: Орт Галеран.

Он встал, поклонясь так непринужденно, хотя сдержанно, что даже чопорная Урания вынуждена была ответить на его приветствие движением головы. Девушки сидели молча. Элли ущипнула себя за руку, а Роэна заинтересованно взглянула на человека, чье простое обращение подчеркнуло, а затем обратило в шутку неловкость девочки.

Давенант с завистью слушал внезапный разговор, печально думая, что он никогда не смог бы подражать Галерану. Каково было его изумление, смятение и восторг, когда Галеран, видя, что посетительницы собираются уходить, обратился к девушкам так неожиданно, что Урания онемела.

— Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там, у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Давенант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностное усилие с его стороны могло бы дать Давенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе.

— Что вы сказали? — крикнул Давенант.— Разве я вас просил?

Кишлот испуганно замахал руками, морщась и качая головой, даже указал пальцем на лоб.

Но было уже поздно. Давенант попал в свет общего внимания, и Элли, страшно довольная скандализованностью гувернантки, смело улыбнулась мальчику, тотчас шепнув сестре:

— Будем, как Аль-Рашид. Почему бы не так?

— Тиррей прав,— согласился, нимало не смущаясь, Галеран,— он меня ни о чем не просил. Эта мысль пришла мне в голову самостоятельно. Я думаю, что после такого моего выступления ваши впечатления приобретут цельность. В самом деле: странное кафе, странные посетители,— странность на странность дает иногда нечто естественное. А что может быть естественнее случайности? И я подумал: дурного ничего нет в моих словах, случай же налицо. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо...

— Однако... — нашла наконец силу и дыхание заговорить гувернантка,— я неприятно удивлена. О боже! Какой ужасный день. Роэна! Элли! Нам *совершенно* пора идти.

Бессвязно проклокотав шепотом о неприличии сидеть долее за ужасным столом хотя бы еще одну ужасную минуту ужасного дня, Урания Тальберг, встав, строго посмотрела на бессознательно подошедшего Давенанта. Она вновь уселась, найдя совершенно некстати, что этот диковатый юноша с длинными руками довольно мил. Откровенное лицо Давенанта предстало нервной даме во всей незащитности охвативших его надежд. Искренние серые глаза при полудетской линии рта и правильных чертах были его заступниками. В его привлекательности отсутствовала примитивность подростка: сложный характер и сильные чувства подмечались наблюдательным взглядом, но девушки видели, не разбираясь во всем этом, просто понравившегося им мальчика с встревоженным лицом и красивыми глазами, темноволосяго и печального.

— Чего же вы хотите? — сказала Урания Галерану.— Я, право, не знаю... Это так неожиданно. Роэна! Элли!

Сконфуженный Давенант с тяжелым сердцем ожидал разрешения сцены, возникшей по мысли Галерана, которого он теперь проклинал. Всех выручил природный такт Элли, решившей, что шуточный тон будет уместнее всякой торжественности.

— Обожаю неожиданности! — сказала она.— Рой тоже любит неожиданности. Ведь правда, дорогая сестрица? Итак, мы решили в сердце своем: мы — «случайности». А вы — вы почему молчите? Ведь все это о вас!

Давенант, запинаясь, сказал:

— Заговорил не я. Сказал Галеран, чего я ему никогда не прощу.

— Но он угадал? — осведомилась Роэна тоном взрослой дамы.

Давенант ответил не сразу. Он сильно покраснел, выразив беглым движением лица нестерпимое желание удачи.

— Да. Если бы...

То была вырвавшаяся просьба о судьбе и пощаде. Волнение помешало ему сказать еще что-нибудь. Однако сочувственное любопытство девушек уже было на его стороне. Перемигнувшись, они подошли к Давенанту, говоря одна за другой:

— Вы, конечно, понимаете...

— Что ваш друг...

— Что в кафе «Отвращение»...

— С кушаньем «Неожиданность»...

— Произошло движение сердца...

— Мы клянемся вашей галереей: зимним летом и осенней весной...

— Постой, Рой!

— Не перебивай, Элли!

— Я не перебиваю. Мы сегодня делаем, что хотим. Тампико сделает все.

— Сделает все, что мы пожелаем! — воскликнула Элли, сердито смотря на Уранию, стоявшую уже у двери и саркастически поджавшую губы. — Придите завтра к нам. Хорошо? А мы сами скажем отцу. Вы уж с ним самим и поговорите. Якорная улица, дом 9 — это наш дом. Не раньше одиннадцати. Прощайте! — Элли неожиданно подбежала к Галерану, покраснела, но решила и закончила: — Какой вы чудесный человек! Вы сказали просто, так просто... И так всегда надо говорить. Впрочем, я вам напишу, сейчас я думаю много и бестолково. Куда писать? Сюда? В «Отвращение»? Кому? Неожиданности?

— Элли! — возвала Урания со стоном и хрипом. Девочка кивнула ей. Стихнув, она присоединилась к сестре.

Кишлот тяжело вздохнул, почесывая бровь. Галеран загадочно улыбался.

Давенант двинулся к двери, затем оглянулся на хозяина и попятился.

Стало тихо в кафе. Живые голоса смолкли. Выбежав на блеск улицы, девушки раскрыли зонтики и, безмерно гордые своим приключением, уселись на сиденье коляски.

Вожжи поднялись, натянулись, и пунцовые цветы с белыми листьями умчались в ливень света, среди серых грив и беглых лучей. Еще раз в стекле двери блеснул красный оттенок, а затем по пустой улице проехал в обратную сторону огромный фургон, нагруженный ящиками, из которых торчала солома.

ГЛАВА II

Урбан Футроз так любил своих дочерей, что не отказывал им ни в чем; в награду за это ему никогда не приходилось раскаиваться в безмерной уступчивости любимым просьбам избалованных девушек. Футроз родился бездельником, хотя его состояние, ум и связи легко могли дать этому здоровому, далеко не вялому человеку положение выдающегося. Однако Футроз не имел естественной склонности ни к какой

профессии, и всякая деятельность, от науки до фабрикации мыла, равно представлялась ему не стоящей внимания в сравнении с тем, единственно важным, что — странно сказать — было для него призванием: Футроз безумно любил чтение. Книга заменяла ему друзей, путешествие, работу, спорт, флирт и азарт. Иногда он посещал клуб или юбилейные обеды своих сверстников, выдвинувшихся на каком-либо поприще, но, затворясь в библиотеке, с книгой на коленях, сигарами и вином на столике у покойного кресла, Футроз жил так, как единственно мог и хотел жить: в судьбах, очерченных мыслями и пером авто-ров.

Его жена, Флавия Футроз, бывшая резкой противоположностью созерцательного супруга, после многолетних попыток вызвать в Футрозе брожение самолюбия, треск тщеславия или хотя бы стыд нормального мужчины, добровольно остающегося ничтожеством, развелась с ним на четвертом году после рождения второй дочери, став женой военного инженера Галля. Она иногда переписывалась с Футрозом и дочерьми, сумев придать новым отношениям приличный тон, но не удержав сердца детей. Девочки еще больше полюбили отца, а когда ему удалось вполне понятно для юных голов доказать им неизбежность такой развязки, не осуждая жену, даже оправдывая ее, — всех трех соединил знак равенства. Девочки открыли, что отец чем-то похож на них, и приютили его в сердце своем. Там занял он уютное, вечное место — наполовину сверстник, наполовину отец.

К такому-то человеку, представляя его сделанным из железа и золота, должен был явиться Тиррей Давенант. Когда девушки уезжали, он еще некоторое время смотрел на дверь даже после того, как стало пусто на мостовой, и опомнился лишь, когда увидел фургон с ящиками.

Вздыхнув, Кишлот скептически поджал нижнюю губу, занявшись уборкой посуды, которую Давенант охотно оставил бы невымытой, чтобы красовалась она в хрустальном ящике во веки веков.

— Однако вы смелый оригинал, — сказал Кишлот Галерану. — Репутация моего кафе укрепится теперь в светских кругах. Не так, так этак. Не тартинки с гвоздями, так рекомендательная контора.

— Вы не правы именно потому, что правы *буквально*, — возразил Галеран, набивая трубку. — Но вы не поймете меня.

— Что говорить: я, разумеется, бестолков, — отозвался Кишлот, — а вы человек ученый. Действительно вы знаете их отца?

— Да. Прежний садовник Футроза был мой приятель. Тиррей, не рассердился ли ты?

— Вначале я рассердился, — ответил Давенант, вспыхнув. — Я испугался.

— Чего?

— Не знаю.

— Хорошо. А затем?

— Рад был, конечно, что там говорить! — крикнул Кишлот. — Прожить жизнь слугой тоже несладко, это уж так. Ветрогонки-то забудут сказать отцу.

— Скорей я не был рад, — пояснил Давенант, обращаясь к Галерану. — Но вдруг стало приятно дышать. И больно. Они не ветрогонки, — задумчиво продолжал он, бессознательно удерживая блюдечко Элли, которое Кишлот так же машинально тянул у него из рук. — О! я очень хотел бы всего такого! — вскричал Давенант. Отдав блюдечко, он встрепенулся и смахнул крошки. — Как вы думаете, что теперь может быть?

— Об этом рано говорить, — сказал Галеран. — Завтра увидимся, ты мне расскажешь, как ты ходил туда и что там произошло. Я должен идти.

— Почему вы так добры ко мне?

— На такие вопросы я не отвечаю. Сам не могу устроить твою судьбу, а случай был соблазнителен.

Галеран ушел, и Давенант вскоре после того опять начал обслуживать посетителей или отваживать любопытных, заходящих подпустить колкость, чтобы затем выйти, пожимая плечами. Когда Кишлот запер кафе, было уже девять часов вечера. Подметая залу, мальчик увидел забытую Галераном книгу и взял ее к себе, в свою каморку за кухней. Ввиду важности ожидающего Давенанта события — идти завтра к Урбану Футрозу — Кишлот разрешил юноше отсутствовать три часа — от десяти утра до часу дня — и надавал ему столько советов, как держаться, говорить, войти, уйти и так далее, что Давенант просто ему не поверил. Кишлот нарисовал двойной образец — унижения и дерзкого приема, сам не замечая, что перепутал принципы кафе «Отвращение» с приемами слезливых нищих. Давенант был рад, когда отделался от него. Не скоро он заснул, то начиная читать в книге о дьявольском игроке Мофи, который видел в зрачках противника отражение его карт, то продолжая носить стаканы с молоком на заветный стол, где сидели дети Футроза. Из них двух стало четыре, а потом больше, и он был в плену этих прекрасных лиц, милостиво позволяющих ему слушать свою болтовню. Сон пожалел его наконец. Давенант спал, видя во сне замки и облака, и, встав утром, начал волноваться, едва протерши глаза.

У него был старенький синий костюм, купленный за гроши на деньги первого жалования, и соломенная шляпа с порывевшей лентой.

Он подровнял ножницами бахрому воротничка, начистил, как медь, башмаки и, поскорее хлебнув кофе, сумрачно выслушал последние наставления Кишлота, желавшего, чтобы Давенант, как бы случайно, сказал Футрозу, что «Отвращение» есть, в сущности, «Приятное разочарование» — небезынтересное для любознательных джентльменов, изучающих нравы города.

Давенант страшно жалел, что нет Галерана, который являлся не раньше полудня, — видеть этого человека теперь было для него равно дружескому напутствию.

Еще ничего не случилось, но кафе «Отвращение» с его повсвистывающими стенными часами и полом, бывшим ниже улицы на три ступени, уже томило Давенанта, как скучное воспоминание. Повар начал попытываться, куда это идет слуга, одевшись, как в праздник, вместо полотняной куртки и тикового передника. Давенант скрыл от него истину, так как повар имел насмешливый ум. Он объяснил, что Кишлот будто бы дал ему поручение. Усомнясь, повар раздраженно передвинул кастрюлю и сказал:

— Тоже... с секретами.

Как ни подталкивал Давенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу: протереть окна, развесить бумажки для мух, написать меню, и лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили десять. Между тем его жажда событий теряла свою ревнивую чистоту от разных замечаний Кишлота: «Хотя ты и нацепил галстук, однако поворачивайся проворнее», или: «Где твои глаза? Не упали ли они в молоко для девочек?..» Случайно его не было за стойкой, когда Давенант складывал ножи и вилки на обычное место буфета. Схватив шляпу, юноша отправился быстрым шагом и начал бродить по городу, медленно и неуклонно приближаясь к Якорной улице. Не было еще одиннадцати часов, но он уже разыскал дом Футроза — старинное здание из серого камня, с большими окнами и входом посередине фасада. Набравшись решимости, Давенант приблизился к огромной двери. На его робкий звонок явилась строгая пожилая горничная, с чем-то таким в лице, что делало ее частью этой волнующей Давенанта семьи. Неловко прошел он за горничной в гостиную. Пытаясь объяснить причину своего посещения, Давенант сказал:

— Вчера мне назначили... Какое-то дело...

Но горничная перебила его:

— Я уже знаю это, вас ждут. Садитесь и обождите. Я передам.

Давенант уселся на стул. Прежде всего он начал вслушиваться, не звучит ли где-нибудь женский смех. Ничего такого не слыша, предоставленный самому себе, он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия: гостиная была заманчива, как рисунок к сказке. Ее стены, обтянутые желто-красным шелком турецкого узора, мозаики и небольшие картины развлекали самое натянутое внимание. Ковер цвета настурций, с фигурами прыгающих золотых кошек, люстра зеленого хрусталя, подвешенная к центру лепной розетки цвета старого золота, бархатные портьеры, мебель красного дерева, обитая розовым тисненым атласом, так сильно понравились Давенанту, что его робость исчезла. Обстановка согрела и оживила его. Великолепные растения с блестящими тяжелыми листьями стояли в фаянсовых вазах против трех больших окон. Рисунок ваз изображал летучих мышей над сумеречными холмами. Стеклопанельная дверь, ведущая на терра-

су, была раскрыта; за ней блестели небо и сад. Маятник каминных часов мерно касался невидимой однотонной струны низкого тембра.

Давенант засмотрелся на отрадную пестроту гостиной, не слыша, как вошел Футроз. Он вскочил, лишь когда увидел владельца дома перед собой. Но не колоссальный денежный туз с замораживающими роговыми очками стоял перед ним, а человек весьма успокоительной наружности — невысокий, худой; его черные волосы спускались бакенами до середины щек, придавая одутловатому бритому лицу с большим ртом и желтым оттенком кожи характерную остроту. Улыбка Футроза открывала перламутровой чистоты зубы; при этом на его щеках появлялись заразительно веселые ямочки, родственные ямочкам Элли. В его черных глазах мелькала искра иронии. Когда Футроз говорил, эта искра разгоралась и освещала все лицо, отчего взгляд менялся, становясь добродушно-серьезным. Отрывистый голос заканчивал этот облик, за исключением не упомянутого нами серого костюма и манеры дергать иногда левой рукой пуговицу жилета.

Усадив Давенанта против себя, Футроз сказал:

— Посмотрим, нельзя ли сделать для вас что-либо полезное. Девочки мне все рассказали, и я готов поддержать их желание устроить вашу судьбу. Вы не стесняйтесь меня. Ваш хозяин, как я слышал, — занятный оригинал. Расскажите мне о своей жизни!

Его простая манера выказывала несомненное расположение, и Давенант избавился от беспокойства, навеянного советами Кишлота. Но только он начал говорить, как в гостиную вошло существо о двух головах: Розна обнимала сестру сзади, установив подбородком в волосы Элли. Заметив Давенанта, девушки остановились и, задумчиво кивая ему, вышли, пятясь, в том же нераздельном положении тесного объятия. Дверь прикрылась. За ней раздались возня и откровенный взрыв хохота.

Встретив и проводив дочерей укоризненным взглядом, Футроз сказал просиявшему Давенанту:

— Вы начали говорить. Выкладывайте свою биографию, после чего займемся обсуждением наших возможностей.

— Видите ли,— сказал Давенант, невольно поглядывая на дверь,— самое интересное для меня то, что мой отец исчез без вести одиннадцать лет назад. Так и осталось неизвестным, куда он девался,— жив он или умер. Мне было тогда пять лет, и я помню, как моя мать плакала. Он вышел вечером, сказав, что направляется к одному клиенту — получить долг. Больше его никто не видел, и никто никогда не мог узнать о его участи, несмотря на всякие справки.

— Следовательно,— заметил Футроз, после приличествующего молчания,— ваш отец не заходил к клиенту, иначе был бы некоторый материал для решения таинственного вопроса.

— Да! И еще более, тот человек отсутствовал,— он уезжал в Сан-Риоль. Никак не мог он быть у него.

— Действительно!

— Когда я вырос,— продолжал Давенант, вздохнув,— многое мне приходило на ум. Я старался понять и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз что-то похожее на мои мысли представилось мне, очень странное.

— Мне интересно знать, рассказывайте.

— Это было так: я чистил башмаки, кто-то прошел за окном, и я вспомнил отца. Мне представился ночной дождь, ветер, а отец, будто бы размышляя, как достать денег, задумался и очутился в гавани — далеко, около нефтяных цистерн. Он стоял, смотрел на огни, на воду, и вдруг все огни погасли. Почему погасли? Неизвестно: так я подумал. Стало тихо. Дунет ветер, плеснет вода... И он услышал, знаете... стук барабана: солдаты вышли из переулка и прошли мимо него: «Раз-два... раз-два...», — а впереди шел барабанщик с темным лицом. Барабан гремел в ночной тьме, но нигде не было огней. Все спали или притаились... Конечно, дико! Я знаю! — вскричал Давенант, торопясь досказать.— Но барабан бил. Вдруг мой отец очнулся. Он пошел прочь и видит — это не та улица. Идет дальше — это не тот город, а какой-то другой. Он испугался, а потом заболел и умер... В больнице, должно быть,— прибавил Давенант, с облегчением видя, что Футроз слушает его без насмешки.— Но он жив... Я иногда чувствую это. Большею частью я знаю, что он умер.

Сведя так удачно воображение с здравым смыслом, Давенант умолк.

Футроз спросил:

— Как это у вас получилось?

— Не знаю. Но стало представляться одно за другим. Я сам удивлялся.

— Вы фантазер,— заметил Футроз, задумчиво рассматривая Давенанта.— Одиннадцать лет — большой срок. Оставим это пока.

Давенант рассказал свою жизнь, но умолчал о том, что его отец адвокат Франк Давенант был горький пьяница и несчастливый игрок; сын стыдился говорить худо об отце, которого едва помнил. Болезненная мать Давенанта шесть лет билась с нуждой, брошенная родственниками на произвол судьбы, в отместку за то, что пренебрегла выгодной партией ради бедного юриста. Ей так и не удалось узнать, как кончает она свои дни: покинутой женщиной или вдовой. Не умевшая раньше ничего делать, Корнелия Давенант выучилась вязать чулки, мастерить шляпы, клеить рамки и коробки из раковин, иногда торговала цветами. Жизнь она провела в бедности, умерла в нищете, а Тиррея на одиннадцатом году его жизни взял к себе парусный мастер Кид, бездетный сосед Корнелии. К тому времени, как Тиррей окончил городскую школу, Кид и его жена уехали в Лисс, где мастер получил место начальника мастерской у крупного судовладельца. Давенанта Кид оставил в Покете, так как немолодая жена его неожиданно сдела-

лась матерью, и чужой, да еще взрослый ребенок начал ей мешать. Уезжая, Киды отдали Тиррея работать харчевнику, имевшему несколько развозных тележек с горячей пищей, а затем Давенант был уступлен своим хозяином Кишлоту.

Футроз, выслушав, проникся сочувствием к юноше, ожидающему решения влиятельного человека с достоинством и застенчивостью младшего, но не ищущего.

— Вчера в вашем «Отвращении» был некто Галеран, — начал Футроз. — В сущности, это он натравил девочек на вас. Кто такой Галеран?

— Видите ли, — ответил, все еще поглядывая на дверь, Давенант, — это человек очень хороший, и он часто по-дружески разговаривает со мной, однако ничего мне о нем неизвестно. Не знает этого даже Кишлот. Галеран приносит мне книги. Вообще он мне нравится.

— Разумеется, это вполне объясняет Галерана. Оставим его. Так чем привлекает вас жизнь? Что хотели бы вы ей дать и, само собой, также взять от нее?

— Я взял бы от нее все, да, как говорится, — руки короткие. Но... ведь вы знаете больше, чем я.

— А потому должен знать, чего вы хотите!!! Ну, нет, дудки, молодой человек! Подумайте и скажите.

— В таком случае я сознаюсь вам, что меня привлекают путешествия. Я хочу больших путешествий, связанных с каким-нибудь увлекательным делом. Но что я говорю! — воскликнул Давенант. — Верно: это мое заветное желание, и оно неисполнимо, но вы хотели, чтобы я говорил откровенно.

— Послушайте, милый мой, — сказал Футроз, прозревая в собеседнике пылкое сердце и горячую голову, — только то и хорошо, что вы откровенный. Вот на чем окончим мы нашу беседу: вы возвратитесь к Кишлоту, а к нам будете приходить по воскресеньям. Кроме того, вы явитесь для делового разговора послезавтра, в те же часы.

— Что вы надумали для меня? — спросил Давенант с высоты облаков, куда загнал его твердый, теплый тон Футроза.

— Законный вопрос. Так вот: у меня есть знакомый в Географическом институте. Несколько экспедиций намечено в этом году, — экспедиций небезопасных и долгих. Вам найдется там вспомогательная работа.

— Это верно! — воскликнул Давенант. — Я буду переносить инструменты или разбивать палатки. Однако, — добавил он великодушно, — я очень прошу вас: если вы встретите затруднения, — не хлопочите тогда.

— Ах так?! Хорошо.

— Но это не в таком смысле, что... — запутался опешивший Давенант, — а в другом... Мне совестно.

— Хорошо,— Футроз задумался, быстро проворчав сам себе: — «Отдам его Старкеру. Пусть пишет под диктовку дневник».

— Как вы сказали? — не расслышал Давенант, думая, что Футроз спрашивает его.

— Я сказал,— шутливо оборвал Футроз деловой разговор,— что я возьму вас пинцетом за крылышки и пушу бегать по глобусу.

Чувствуя серьезность обещания, Давенант глубоко вздохнул, а Футроз позвонил и велел горничной передать девушкам, что он хочет их видеть.

— Вы будете нас посещать,— сказал он Давенанту, хлопая его по плечу,— и вам надо их старательно разглядеть, чтобы потом знать, с какой стороны получите удар. Это — хорошие, но очень коварные дети.

Девушки вошли и чинно кивнули смутившемуся Тиррею.

— Серьезный разговор кончен,— сказал им отец,— а теперь Давенант — наш гость. Боюсь, что он деликатнее вас, а потому не сумеет вас осадить. Помните, что он беззащитен, и не пугайте его. Мы его по-немногу перевернем. Розна, я могу быть спокоен?

— О да, папа! — грустно сказала Рой, опуская глаза.— Ты можешь быть совершенно спокоен. Так спокоен, как тихая вода горных озер.

— Как энциклопедия на древнеегипетском языке,— успокоила отца Элли, печально глядя рукав.

Футроз с сомнением взглянул на них и вышел. Язвительницы немедленно подошли к Давенанту и сели против него.

Элли томно сказала:

— Какая чудесная погода!

— О да! — ласково улыбнулась Рой краснеющему Давенанту.— Но, кажется, барометр падает. Скажите, пожалуйста, какого типа автомобили вам нравятся?

— Вы любите музыку? — спросила Элли, кусая губы.— Какой ваш любимый композитор?

Продолжая дурачиться, они заметили, что Давенант удручен, и рассмеялись.

— Вы на нас не сердитесь, — сказала Рой. — Сегодня мы почему-то никак не можем остановиться. Нравится вам у нас?

— Да,— сказал Давенант,— вы угадали.

— А мы? — нагло спросила Элли, подсакивая на стуле.

— Мы постараемся вам понравиться, — скромно пообещала Розна.— Вы будете приходить часто. Хорошо?

— Очень хорошо,— ответил Давенант,— это лучше всего.— Подумав, он добавил: — Я, может быть, кажусь вам очень серьезным, но это обманчиво. *Так* я не очень серьезен.

— Я вижу, что у нас найдется общая почва,— Элли подмигнула сестре.— Я тебе говорила.

— Что говорила?

Они обменялись таинственными знаками и несколько успокоились.

— Хотите, мы вам сыграем?—предложила Элли.

— Конечно! — вскричал Давенант. Улыбка не покидала его.

Возник спор, кому первой играть. Кончился он тем, что Роэна села к роялю, а Элли встала с ней рядом — переворачивать листы нот.

— Слушайте «Вальс изгнанника»,— говорила Роэна в то время, как ее еще не сильные пальцы нажимали клавиатуру.— Я основательно не усвоила его пока. Это место путается дней пять. Но ты, Роэна, упорное существо... Слышите, как соврала? И вот, теперь изгнанник возвращается к домашнему очагу.

— Он стоит у окна темный, как негр в полночь, а там,— Элли закатила глаза, — его дочь, в цветах и бриллиантах, приехала из церкви... Сказать ли? С довольно недурным субъектом.

— И... — подхватила Рой, приказывая взглядом перевернуть лист.— Элли, зачем дергаешь ноты?.. и изгнанник, не желая мешать счастью дочери, целует оконное стекло. Все кончено. Он вернулся в свой дикий лес.

Давенант слышал не вальс, а небесный хор. Руки Роэны, вытягиваясь при сильных аккордах, как бы отталкивали рояль, или, мягко опустив локти, она склонялась над клавишами, быстро перебирая их, разгоревшаяся, охваченная светом мелодии.

С нее Давенант перевел взгляд на Элли. Девочка рассеянно улыбалась ему, тихо подпевая игре сестры. Теперь они были очень похожи.

Роэна окончила звуками, напоминающими медленный бой часов, и встала.

— Вот и все,— сказала она.— Хотите еще? Давенант не успел ответить, так как вошел Футроз с конвертом в руке.

— Давенант, увидите ли вы Галерана? — спросил Футроз, обняв прижавшуюся к нему Элли.

— Да, я думаю,— да,— ответил Давенант, не понимая, что означает этот вопрос.— Галеран приходит в... обедать каждый день.

— В «Отвращение»,— вставила Элли.— Ох! Я обещала ему написать.

— Помолчи. Передайте это письмо Галерану, а затем, как мы условились. Надеюсь, я увижу вас послезавтра.

— Загадка! — вскричала Рой.

— Галеран влопался,— кратко сообщила Элли, повертываясь на одной ноге.

— Хорошо, письмо будет передано,— сказал Давенант, пряча пакет.

— Тампико, мы пошли,— объявила Элли.— Прощайте, Давенант! Передайте письмо!

— Передайте его из рук в руки, за углом, чтобы никто не видел,— посоветовала Рой.

Футроз повернулся к ним, скрестив руки и двинув бровью так внушительно, что девушки смутились и вышли. Давенант увидел два носика, просунутые в щель двери, затем Рой сказала: «Идем!» — и дверь плотно закрылась.

Футроз отпустил Давенанта, почти жалея, что этот большой мальчик не его сын.

Выпущенный на улицу почтительной горничной, стесняясь ее, стен, двери, самого себя, Давенант пустился идти так быстро, что задохнулся. Ломая голову над неожиданным письмом Галерану, твердя «Географический институт», «изгнанник целует стекло», слыша мотив и созерцая два носика в дверной щели, Давенант явился к Кишлоту с таким странным лицом, что тот спросил:

— Выставили?

— Нет, не выставили,— рассеянно ответил наш герой, оглядываясь.— А где Галеран?

— Он тут, если ты на него смотришь,— сказал Галеран в пяти шагах от Давенанта, именно к нему и обратившегося со своим лунатическим вопросом.

Давенант вздрогнул.

— Ах, это вы! Странно — я не заметил, где вы сидите. Вот письмо. Вам письмо.

Кишлот только что принес тарелку супа для Галерана. Тот отложил ложку и стал рассматривать конверт.

— Сам Футроз написал его,— пояснил Давенант. В течение нескольких минут остальные посетители «Отвращения» — старая женщина и толстомордый приказчик из мясной лавки — тщетно требовали: женщина — соль, а приказчик — печеное яблоко. Кишлот разинул рот еще шире, чем Давенант. Кишлот издали рассматривал письмо, а Давенант стоял вблизи Галерана. Наконец, опомнясь, он ушел заменить синий пиджак белой рабочей курткой и, едва сделав это, выскочил смотреть, как распечатывается загадочное письмо.

Галеран с замкнутым лицом вскрыл конверт и запустил в него два пальца. Подавив улыбку, он осторожно извлек визитную карточку, мелко исписанную, и, держа ее перед собой в левой руке, приблизил к губам ложку с супом. Ложка почти касалась его губ, но он, слив суп обратно в тарелку, оставил ложку и, держа теперь письмо обеими руками, начал читать с крайне серьезным видом, заложив ногу за ногу. Что-то большое, важное засветилось в его прищуренном взгляде. Галеран спрятал письмо и рассеянно съел суп, после чего заказал мороженое.

— Разве вы не будете есть дичь? — удивился Кишлот, взглядывая из-за своей стойки на Галерана, который даже закурил почему-то перед мороженым.— «Куропатка с ревматизмом», — как значится сегод-

ня в меню... Хе-хе! Должно быть, важное это письмо, от старых знакомых... Давенант, принеси «мороженое с ангиной»!

Надеясь, что Галеран заговорит о письме, Тиррей окаменел в дверях, подняв ногу и повернув ухо.

— Не буду есть даже «павлина с аппендицитом», — сказал Галеран, — не буду есть даже мороженое. Я раздумал, так как лишился аппетита из-за чрезвычайных новостей. Во-первых, овцы подорожали, а во-вторых, прибыла партия кайенского перца, который продается с аукциона.

— Так не надо мороженого? — спросил Давенант, ставив старухе третью солонку.

Старуха так обиделась, что топнула ногой. Галеран встал, подозвав мальчика движением головы.

— Сознаешь ты, что отчасти обязан мне? В деле с Футрозом?

— Конечно. Вы первый начали.

— Тогда ты должен зайти сегодня вечером, в десять часов, на Северную улицу, номер 24, квартира 33. Это мой адрес. Я буду тебя ждать. Ты придешь и расскажешь, как тебя встретили.

— Футроз сказал, что сделает все. Понимаете? Я не шучу. Я приду к вам, — быстро говорил Давенант, извиваясь всеми нервами от любопытства к письму. — Но... что он вам написал? Уж вы простите меня.

— Я мог бы не отвечать, видя твою деликатность, но я тебя понимаю. Футроз просит меня, со всей вежливостью, конечно, чтобы я не присылал ему больше очень любопытных «Тирреев», шестнадцати лет.

— Я не мальчик, — сказал Давенант, вспыхнув. — Но я сошел с ума, вот что. Забудьте мою настойчивость...

Галеран ушел, а Давенант приступил к обычной работе. Относительно письма он думал, что Футроз переслал Галерану записку Элли о ее мыслях, как она обещала. Кишлот сумрачно посвистывал, роняя изречения вроде: «Чего не бывает в жизни!», «Не каждому так везет!», а вечером подвыпил и заявил, что в его жизни тоже был один случай, но он не воспользовался им, так как очень горд и презирает людей, живущих в особняках.

— Вот если ты сам достигнешь всего — это другое дело, — говорил Кишлот, — это не то, что хвататься за чужой хвост.

Ворчание старика Давенант оставил без внимания и, рассеянно соглашаясь с ним, дождался наконец часа закрытия кафе. Вскоре после того он направился к дому, где жил Галеран. Это был старый дом в три этажа, стоявший на углу песчаного пустыря плохо освещенной окраины. Не все окна дома были озарены изнутри, на грязных лестницах приходилось рассматривать ступени, а иногда зажигать спичку. Давенант взобрался на третий этаж по второй лестнице и разыскал номер квартиры. Человек с миниатюрным лицом, провалившимся в огромную бороду, провел Давенанта к помещению в конце широкого коридора.

дора, где смутно белела прибитая кнопкой визитная карточка. Услышав шаги, Галеран вышел и пропустил мальчика, а дверь запер крючком.

— Я всегда запираюсь,— сказал Галеран,— потому что жильцы имеют привычку вваливаться не стуча. Тебе открыл горький пьяница, бывший студент.

Большая комната Галерана была освещена газовым рожком и скудно обставлена простой мебелью, состоявшей из двух столов — на одном провизия и посуда, другой с книгами и чернильницей,— трех стульев, кровати за ширмой и марлевых занавесок двух окон. На известковых стенах висели две старые гравюры под стеклом, копии Мейсоны. Эта бедность, подчеркнутая чистотой помещения и полной достоинства приветливостью, с какой Галеран усадил гостя, тронула Давенанта; впервые пожалел он, что не богат и не может прислать Галерану восточный ковер.

— Вы очень меня заинтересовали,— сказал мальчик,— я все ждал, когда наступит вечер. Но я все равно страшно хотел прийти к вам.

— Отлично. Тем более, что я тебя сейчас поведу.

— Да. То есть — куда?

— Мы условились, что ты не будешь ни о чем спрашивать. Я тебя поведу, и ты увидишь.

— Замечательно интересно! — вскричал Давенант, ожидая чудес и снова трепеща, как утром в доме Футроза.— Я согласен. Что же я увижу?

— А! Не стоит с тобой разговаривать! Принимай условие без вопросов и рассуждений. Нам предстоит приключение.

— В таком случае я готов,— заявил Давенант, вскакивая.— Но у меня нет оружия.

— Нам не понадобится оружие. Если хочешь, вооружись терпением.

Галеран надел шляпу и взял трость. Давенант не мог ничего прочесть в его невозмутимом лице. Завернув газовый рожок, Галеран сказал: «Идем»,— пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галеран внушительно заявил:

— Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки.

— Хорошо,— басом ответил Симпсон.— Впрочем, что я говорю! Вы незаслуженно оскорбили меня!

— Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка, так я вам дам сам.

Не слушая, что кричит вдогонку Симпсон, Галеран вышел из дома и привел Тиррея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галеран назвал адрес, неизвестный Давенанту. Забавляясь волнением и недоумением Тиррея, умолкшего от неожиданности и

сидевшего, погрузясь в тщетные догадки, Галеран обстоятельно рассказал о Симпсоне — как он застал его в «своей комнате за кражей вина, — похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Давенант обиженно слушал, догадываясь, что Галеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн, и выискивал среди его слов намеки на предстоящее.

— Хочешь, я тебе расскажу анекдот? — спросил Галеран.

Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот никогда не был рассказан.

— Немного поздно,— сказал Галеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками.— Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату.

Давенант дернул его за рукав, но Галеран взял мальчика за локоть и подтолкнул.

— Иди же,— сказал он.— Я говорю правду. Футроз просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить.

— Его письмо! — вскричал Давенант. — Так *это* он вам писал?

— Да; еще кое-что.

— Заботятся о молодом человеке, хлопчут,— осторожно произнесла старуха как бы про себя, но с явной целью завязать разговор.— Пожалуйста, пожалуйста, там вам все приготовлено, останетесь довольны.

— Значит, сегодня мне не уснуть!—объявил Давенант, входя за Галераном в комнату с зелеными обоями и глубокой нишей, где помещалась кровать. Он увидел качалку, письменный стол, стулья с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев.

Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галеран без церемонии закрыл дверь.

— Сегодня тебе нет смысла перебираться,— сказал Галеран,— так как уже поздно, да и Кишлот, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай: эта комната оплачена вперед за три месяца с полным содержанием: завтрак, обед, ужин и два раза кофе. Хорошее приключение?

— Чем я оплачу Футрозу и вам?

— Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Давенантом. Что касается меня, то моя роль случайна — я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф!

Давенант повиновался. В шкафу висела одежда. Внизу лежала груда белья.

— Ты видишь,— продолжал Галеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка,— ты видишь здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака — это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и четыре галстука различных оттенков. Две шляпы — соломенная и фетровая. Шляпы необходимо примерить.

КОЛОНИЯ ЛАНФИЕР

Подобно моряку,
Плывущему через Юрский пролив,
Не знаю, куда приду я
Через глубины любви.

Иоситада, японец.

I

Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрятала его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кружочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; безветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорослями и солью.

— Шесть тысяч тонн, — сказал Дрибб, опуская свой палец. — Пальмовое и черное дерево. Скажи, Гупи, нуждаешься ты в черном дереве?

— Нет, — возразил фермер, введенный в обман серьезным тоном Дрибба. — Это мне не подходит.

— Ну, — в атласной пальмовой жердочке, из которой ты мог бы сделать дубинку для своего будущего наследника, если только спина его окажется пригодной для этой цели?

— Отстань, — сказал Гупи. — Я не нуждаюсь ни в каком дереве. И будь там пестрое или малиновое дерево, — мне одинаково безразлично.

— Дрибб, — проговорил третий колонист, — вы, кажется, хотели что-то сказать?

— Я? Да ничего особенного. Просто мне показалось странным, что барок, груз которого совершенно не нужен для нашего высокочтимого Гупи, — бросил якорь. Как вы думаете, Астис?

Астис задумчиво потянул носом, словно в запахе моря скрывалось нужное объяснение.

— Небольшой, но все-таки крюк, — сказал он. — Путь этого голландца лежал южнее. А впрочем, его дело. Возможно, что он потерпел аварию. Допускаю также, что капитан имеет особые причины поступать странно.

— Держу пари, — сказал Дрибб, — что его маленько потрепало в Архипелаге. Если же не так, то здесь открывается мебельная фабрика. Вот мое мнение.

— Пари это вы проиграете, — возразил Астис. — Месяц, как не было ни одного шторма.

— Я, видите ли, по мелочам не держу, — сказал, помолчав, Дрибб, — и меньше десяти фунтов не стану марафья.

— Согласен.

— Что же вы утверждаете?

— Ничего. Я говорю только, что вы ошибаетесь.

— Никогда, Астис.

— Сейчас, Дрибб, сейчас.

— Вот моя рука.

— А вот моя.

— Гупи, — сказал Дрибб, — вы будете свидетелем. Но есть затруднение: как нам удостовериться в моей правоте?

— Какая самоуверенность! — насмешливо отозвался Астис. — Скажите лучше, как доказать, что вы ошиблись?

Наступило короткое молчание. Дрибб заявил:

— В конце концов, нет ничего проще. Мы сами поедем на барок.

— Теперь?

— Да.

— Стойте! — вскричал Гупи. — Или мне послышалось, или гребут. Помолчите одну минуту.

В глубокой сосредоточенной тишине слышались протяжные всплески, звук их усиливался, равномерно отлетая в бархатную пропасть моря.

Дрибб встрепенулся. Его любопытство было сильно возбуждено. Он топтался на самом обрыве и тщетно силился рассмотреть что-либо.

Астис, не выдержав, закричал:

— Эй, шлюпка, эй!

— Вы несносный человек, — обиделся Гупи. — Вы почему-то думаете, что умнее всех. Один бог знает, кто из нас умнее.

— Они близко, — сказал Дрибб.

Действительно, шлюпка подошла настолько, что можно было различить хлюпанье водяных брызг, падающих с весла. Зашуршал гравий, послышались медленные шаги и разговор вполголоса. Кто-то взбирался по тропинке, ведущей с отмели на обрыв спуска. Дрибб крикнул:

— Эй, на шлюпке!

— Есть! — ответили внизу с сильным иностранным акцентом. — Говорите.

— Лодка с голландца?

Колонист не успел получить ответа, как незнакомый, вплотную раздавшийся голос спросил его в свою очередь:

— Это вы так кричите, приятель? Я удовлетворю ваше законное любопытство: шлюпка с голландца, да.

Дрибб повернулся, слегка оторопев, и вытаращил глаза на черный силуэт человека, стоявшего рядом. В темноте можно было заметить, что неизвестный плечист, среднего роста и с бородой.

— Кто вы? — спросил он. — Разве вы оттуда приехали?

— Оттуда, — сказал силуэт, кладя на землю порядочный узел. — Четыре матроса и я.

Манера говорить не торопясь, произнося каждое слово отчетливым, хлестким голосом, произвела впечатление. Все трое ждали, молча рассматривая неподвижно черневшую фигуру. Наконец Дрибб, озабоченный исходом пари, спросил:

— Один вопрос, сударь. Барок потерпел аварию?

— Ничего подобного, — сказал неизвестный, — он свеж и крепок, как мы с вами, надеюсь. При первом ветре он снимается и идет дальше.

— Я доволен, — радостно заявил Астис. — Дрибб, платите проигрыш.

— Я ничего не понимаю! — вскричал Дрибб, которого радость Астиса болезненно резнула по сердцу. — Гром и молния! Барок не увеселительная яхта, чтобы тыкаться во все дыры... Что ему здесь надо, я спрашиваю?..

— Извольте. Я уговорил капитана высадить меня здесь.

Астис недоверчиво пожал плечами.

— Сказки! — полувопросительно бросил он, подходя ближе. — Это не так легко, как вы думаете. Путь в Европу лежит южнее миль на сто.

— Знаю, — нетерпеливо сказал приезжий. — Лгать я не стану.

— Может быть, капитан — ваш родственник? — спросил Гупи.

— Капитан — голландец, уже поэтому ему трудно быть моим родственником.

— А ваше имя?

— Горн.

— Удивительно! — сказал Дрибб. — И он согласился на вашу просьбу?

— Как видите.

В его тоне слышалась скорее усталость, чем самоуверенность. На языке Дрибба вертелись сотни вопросов, но он сдерживал их, инстинктом чувствуя, что удовлетворению любопытства наступили границы. Астис сказал:

— Здесь нет гостиницы, но у Сабо вы найдете ночлег и еду по очень сходной цене. Хотите, я провожу вас?

— Я в этом нуждаюсь.

— Дрибб... — начал Астис.

— Хорошо, — раздраженно перебил Дрибб, — вы получите 10 фунтов завтра, в восемь часов утра. До свидания, господин Горн. Желая вам устроиться наилучшим образом. Пойдем, Гупи.

Он повернулся и зашагал прочь, сопровождаемый свиноводом.

— Теперь я держу пари, что с Дрибба получить придется только с помощью увесистой ругани. Господин Горн, я к вашим услугам.

Астис протянул руку, повернулся и удивленно прищелкнул языком. Он был один.

— Горн! — позвал Астис.

Никого не было.

II

Цветущие, низкорослые заросли южных холмов дымились тонкими испарениями. Расплавленный диск солнца стоял над лесом. Небо казалось голубой, необъятной внутренностью огромного шара, наполненного хрустальной жидкостью. В темной зелени блеснула роса, причудливые голоса птиц звучали как бы из-под земли; в переливах их слышалось томное, ленивое пробуждение.

Горн шагал к западу, стремясь обойти цепь оврагов, заполнявших пространство между колонией и северной частью леса. Старый кольтовский штуцер покачивался за его спиной. Костюм был помят — следы ночи, проведенной в лесу. Шел он ровными, большими шагами, тщательно осматриваясь, разглядывая расстояние и почву с видом хозяина, долго пробывшего в отсутствии.

Юное тропическое утро охватывало Горна густым дыханием сочной, мясистой зелени. Почти веселый, он думал, что жить здесь представляет особую прелесть дикости и уединения, отдыха потревоженных, невозможного там, где каждая пядь земли захватана тысячами и сотнями тысяч глаз.

Он миновал овраги, гряду базальтовых скал, похожих на огромные кучи каменного угля, извилистый перелесок, опоясывающий холмы, и вышел к озеру. Места, только что виденные, не удовлетворяли его. Здесь не было концентрации, необходимого и гармонического соединения пространства с лесом, гористостью и водой. Его тянуло к уютности, полноте, гостеприимству природы, к тенистым, прихотливым углам. С тех пор, как будущее перестало существовать для него, он сделался строг к настоящему.

Зной усиливался. Тишина пустыни прислушивалась к идущему человеку; в спокойном обаянии дня мысли Горна медленно уступали одна другой, и он, словно читая книгу, следил за ними, полный сосредоточенной грусти и несокрушимой готовности жить молча, в самом себе. Теперь, как никогда, чувствовал он полную свою оторванность от всего видимого; иногда, погруженный в думы и резко пробужденный к сознанию голосом обезьяны или шорохом пробежавшей лирохвостки, Горн подымал голову с тоскливым любопытством, — как попавший на другую планету, — рассматривая самые обыкновенные предметы: камень, кусок дерева, яму, наполненную водой. Он не замечал усталости, ноги ступали механически и деревенели с каждым ударом подошвы о жесткую почву. И к тому времени, когда солнце, осилив последнюю высоту, сожгло все тени, затопив землю болезненным, нестерпимым жаром зенита, достиг озера.

Мохнатые, разбухшие стволы, увенчанные гигантскими, перистыми пучками, соединялись в сквозные арки, свесившие гирлянды ползучих растений до узловатых корней, сведенных, как пальцы гнома, подземной судорогой, и папоротников, с их нежным, изящным кружевом резных листьев. Вокруг стволов, вскидываясь, как снопы зеле-

ных ракет, склонялись веера, зонтики, заостренные овалы, иглы. Дальше, к воде, коленчатые стволы бамбука переплетались, подобно соломе, рассматриваемой в увеличительную трубу. В просветах, наполненных темно-зеленой густой тенью и золотыми пятнами солнца, сверкали крошечные, голубые кусочки озера.

Раздвигая тростник, Горн выбрался к отмели. Прямо перед ним узкой, затуманенной полосой тянулся противоположный берег; голубая, стального оттенка поверхность озера дымилась, как бы закутанная тончайшим газом. Справа и слева берег переходил в обрывистые холмы; место, где находился Горн, было миниатюрной долиной, покрытой лесом.

Сравнивая и размышляя, Горн бросил на песок кожаную сумку и сел на нее, отдавшись рассеянному покою. Место это казалось ему подходящим, к тому же нетерпение приступить к работе решило вопрос в пользу берега. Он видел квадратную, расчищенную площадку и легкое здание, скрытое со стороны озера стеной бамбука. С помощью одного топора, посредством крайнего напряжения воли, он надеялся создать угол, свободный от нестерпимого соседства людей и липких, чужих взглядов, после которых хочется принять ванну.

Посреди этих размышлений, стирая картины предстоящей работы, вспыхнула старая, на время притупленная боль, увлекая воображение к титаническим городам севера. Тысячемильные расстояния сокращались, как лопнувшая резина; с раздражающей отчетливостью, обхватив колена красными от загара руками, Горн видел сцены и события, центром которых была его воспаленная, запятанная душа. Остановившимся, потемневшим взором смотрел он на застывшие в определенном выражении черты лиц, матовый лоск паркета, занавеси окна, вздуваемые ветром, и тысячи неодушевленных предметов, напоминающих о страдании глубже, чем самая причина его. Светлый, бронзовый канделябр с оплывающими свечами горел перед ним, похищая у темноты маленькую, окаймленную кружевом руку, протянутую к огню, и снова, как несколько лет назад, слышался стук в дверь — громкое и в то же время немое требование...

Горн встряхнул головой. На одно мгновение он сделался противен себе, напоминая ампутированного, сдергивающего повязку, чтобы взглянуть на омертвевший разрез. Томительная тишина берега походила на тишину больничных палат, вызывающую в нервных людях потребность кричать и двигаться. Чтобы развлечься, он приступил к работе. Он чувствовал настоящую мускульную тоску, желание утомляться, подымать тяжести, разрубать, вколачивать.

И с первым же ударом синеватой английской стали в упругий ствол бамбука Горн загорелся пароксизмом энергии, неистовством напряжения, жаждущего подчинять материю непрерывным градом усилий, следующих одно за другим в возрастающем сладострастии изнеможения. Не переставая, валил он ствол за стволом, обрубал листья, ломал,

отмеривал, копал ямы, вбивал колья; с глазами, полными зеленой пестроты леса, с душой, как бы оцепеневшей в звуках, производимых его собственными движениями, он погружался в хаос физических ощущений. Грудь ломило от учащенного дыхания, едкий пот зудил кожу, ладони рук горели и покрывались водяными мозолями, ноги наливались отяжелевшей венозной кровью, острая боль в спине мешала выпрямиться, все тело дрожало, загнанное лихорадочной жаждой убить мысль. Это было опьянение, оргия изнурения, иступление торопливости, наслаждение насилем. Голод, подавленный усталостью, действовал, как наркотик. Изредка, мучаясь жаждой, Горн бросал топор и пил холодную солоноватую воду озера.

Когда легли тени и вечерняя суматоха обезьян возвестила о приближении ночи, маленькая, дикая коза, пришедшая к водопою, забила в камыше, подстреленная пулей Горна. Огонь был поваром. Дымящиеся, полусожженные куски мяса пахли травой и кровавым соком. Горн ел много, работая складным ножом с такой же ловкостью, как когда-то десертной ложкой.

Насыщаясь, охваченный растущей темнотой, пронизанной красным отблеском тускнеющих, сизоватых углей костра, Горн вспомнил барок. С корабельного борта его дальнейшее существование казалось ему загадочной сменой дней, полных неизвестности и однообразия, растительным ожиданием смерти, сменяемым изредка приступами тяжелой тоски. Он как бы видел себя самого, маленькую человеческую точку, с огромным, заключенным внутри миром, — точку, окрашивающую своим настроением все, схваченное сознанием.

Пряная сырость сгушалась в воздухе, мелодия лесных шорохов плела тонкое кружево насторожившейся тишины, прелый, сладковатый запах оранжереи поддерживал возбуждение. Мысли бродили вокруг начатой постройки, возвращаясь и к океану и к отрывочным представлениям прошлого, утратившего свою остроту в чувстве полной разбитости. Приближался тяжелый, мертвый сон, веяние его касалось ресниц, пугало мысли и невидимой тяжестью проникало в члены.

Последний уголь, потрескивая, разгорелся на одно мгновение, приняв цвет раскаленного железа, осветив ближайшие, свернувшиеся от жары стебли, и померк. И вместе с ним отлетел в бархатную черноту дух Огня, веселый, прыгающий дух пламени.

Крик рыси тревожно прозвучал на холме, стих и, снова усиливаясь, раздался жалобной, протяжной угрозой. Горн не слышал его, он спал глубоким, похожим на смерть, сном — истинное счастье земли, царства пыток.

Через пять дней на ровной четырехугольной площадке, гладко утрамбованной и обнесенной изгородью, стоял небольшой дом с односкатной крышей из тростника и окном без стекол, выходящим на

озеро. Устойчивая, самодельная мебель состояла из койки, стола и скамеек. В углу высился земляной массивный очаг.

Кончив работу, согнувшийся и похуевший Горн, пошатываясь от изнурения, пробрался узкой полосой отмели к подножию холма, достиг вершины и осмотрелся.

На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами ху-досочных кустарников. На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей в город, по краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся издали крошечными, как побеги салата. На западе, облегая изрытую оврагами и холмами равнину, тянулась синяя, сверкающая белыми искрами гладь далекого океана.

А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо посаженной зеленью, тянулись косые четы-реугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер.

Ш

Туземная двухколесная тележка переехала дорогу под самым носом Гупи. Миновав облако едкой пыли, Гупи увидел незнакомого человека, шагавшего навстречу, и невольно остановился. Этого человека он не помнил, но в то же время как будто встречал его. Смутное воспоминание о голландском бароке подстрекнуло природное любопытство Гупи, он снял шляпу и поклонился.

— Э! — сказал Гупи, прищуриваясь. — Вы из города?

— Еще не был в городе, — возразил Горн, сдержав шаг, — и едва ли пойду туда.

— Ну да, ну да! — осклабился Гупи. — Я так и думал. Я узнал вас по голосу. Неделю назад вы высадились в маленькой бухте, так ведь?

— Я высадился в маленькой бухте, это верно, — проговорил, сообщая. Горн, — но я не думаю, чтобы встречался с вами.

Гупи захохотал, подмигивая.

— Астис и Дрибб держали пари, — сказал он, успокаиваясь. — Я ушел с Дриббом, Астис уверял всех, что вы провалились сквозь землю. Сыграли вы шутку с ним, черт побери!

— Теперь я, кажется, припоминаю, — сказал Горн. — Да, я несомненно чувствовал ваше присутствие в темноте.

— Вот, вот! — закивал Гупи, потев от удовольствия поболтать. — А почему вы не пошли с Астисом?

— Скажу правду, — улыбнулся Горн, — откровенно говоря, мне было совестно затруднять столь почтенных людей. Другой солгал бы вам и сказал, что все вы показались ему глупыми, болтливыми и чересчур любопытными, но я — другое дело. Чувствуя расположение к вам, я не хочу лгать.

Он произнес это с совершенно спокойным выражением лица, и Гупи, приняв за чистую монету замаскированное оскорбление, расплолся в самодовольной улыбке.

— Ну, ну, — снисходительно возразил он, — велика важность! А вы, честное слово, хороший парень, вы мне нравитесь. Моя ферма в полумиле отсюда; кусок жареной свинины и стакан пива, а? Что вы на это скажете?

— Пойдемте, — согласился, помолчав, Горн. Самоуверенные манеры колониста забавляли его, он спросил: — Сколько у вас жителей?

— Много, — пропыхтел Гупи, взмахивая рукой. — С тех пор, как пароходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепетывают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отвыкнуть.

Лабиринт зеленых изгородей, полный сухой пыли, змеился по отлогому возвышению. Ноги Горна по щиколотку увязали в красноватом песке; пыль щекотала ноздри. Гупи рассказывал:

— Женщин здесь встретите реже, чем змей. В прошлом году на прачку, выехавшую сюда за сто миль, устроили настоящий аукцион. Посмотрели бы вы, как она, подбоченившись, стояла на прилавке «Зеленой раковины»! Три человека переманивали ее друг у друга и в конце концов пошли на уступки: одного разыскали в колодце... а двое так и живут с ней.

Гупи перевел дух и продолжал далее. По его словам, не более половины жителей имели семейства и жили с белыми женщинами, остальные довольствовались туземками, соблазненными перспективой безделья и цветной тряпкой, в то время как отцы их валялись рядом с бутылками, оставленными сметливым женихом.

Пришлое население, почти все бывшие ссыльные или дети их, дезертиры из отдаленных колоний, люди, стыдившиеся прежнего имени, проворовавшиеся служащие — вот что сгрудилось в количестве ста дымовых труб около первоначального крошечного поселка, основанного двумя бывшими каторжниками. Один умер, другой еще таскал из дома в дом свое изможденное пороками дряхлое тело, здесь ужиная, там обедая и везде хныкая об имуществе, проигранном в течение одной ночи более удачливому мерзавцу.

— Вот дом, — сказал Гупи, протягивая негнущуюся ладонь фермера к высокому, напоминающему башню строению. — Это мой дом, — прибавил он. В лице его легла тень тупой важности. — Хороший дом, крепкий. Хотя бы для губернатора.

Высокая изгородь тянулась от двух углов здания, охватывая кольцом невидимое снаружи пространство. Заложив руки в карманы и задрав голову, Гупи прошел в ворота.

Горн осмотрелся, пораженный своеобразным величием свиного корыта, царствовавшего в этом углу. Раскаленная духота двора дыша-

ла нестерпимым зловонием, мириады лоснящихся мух толклись в воздухе; зеленоватая навозная жижа липла к подошвам, визг, торопливое хрюканье, острый запах свиных туш — все это разило трепетом грязного живого мяса, скученного на пространстве одного акра. Толстые, желтые туловища двигались во всех направлениях, трясясь от собственной тяжести. Двор кишел ими; огромные, с черной щетиной, борова, нескладные, вихляющиеся подростки, розовые, чумазные поросята, беременные, вспухшие самки, изнемогающие от молока, стиснутого в уродливо отвисших сосцах, — тысячи крысиных хвостов, рыла, сверкающие клыками, разноголосый, режущий визг, шорох трущихся тел — все это пробуждало тоску по мылу и холодной воде. Гупи сказал:

— А вот это мои свинки! Каково?

— Недурно, — ответил Горн.

— Каждый месяц продаю дюжины две, — оживился Гупи, с наслаждением раздувая ноздри. — Это самые спокойные животные. И возни почти никакой. Иногда, впрочем, они пожирают маленьких — и тут уже смотри в оба. Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножечко побочистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится.

— Свиньи красивые, — сказал Горн.

Гупи потер лоб и сморщился. Горн раздражал его, у этого человека был такой вид, как будто он много раз видел свиней и Гупи.

— Я собирался уйти, — заговорил Горн, — но вспомнил, что хочу пить. Если у вас есть вино — хорошо, нет — не надо.

— Есть туземное пиво, «сахха». — Гупи дернулся по направлению к дому. — Из саго. Не пили? Попробуйте. Вскружит голову, как Эстер.

Неуютная, почти голая комната, куда вошел Горн, смягчалась ослепительным блеском неба, врывавшегося в окно; на его синем четырехугольнике толпились остроконечные листья и перистые верхушки роши. Гупи схватил палку и громко треснул ею об стол.

Полуголое существо, с прической, напоминающей папские тиары¹, вышло из боковой двери. Это была женщина. Плечи ее прикрывал бумажный платок. Темное лицо с выпуклыми, как бы припухшими губами неподвижно осматривало мужчин.

— Дай пива, — коротко бросил Гупи, усаживаясь за стол.

Горн сел рядом. Женщина с темным телом внесла кувшин, кружки и не уходила. Продолговатые быстрые глаза ее скользили по рукам Горна, костюму и голове. Она была не старше восемнадцати лет; грубую миловидность ее приплюснутого лица сильно портила блестящая жестяная дужка, протетая в ухо.

— Не торчи здесь, — сказал Гупи. — Уйди.

¹ Т и а р а — тройная корона римского папы.

Верхняя губа девушки чуть-чуть приподнялась, блеснув полоской зубов. Она вышла, сонно передвигая ногами.

— Я с ней живу, — объяснил Гупи, высасывая стакан. — Идиотка. Они все идиоты, хуже негров.

— Я думал, что у вас нет... женщины, — сказал Горн.

— Женщины у меня нет, — подтвердил Гупи. — Я не женат и любовниц не завожу.

— Здесь только что была женщина. — Горн пристально посмотрел на Гупи. — А может быть, я ошибся...

Гупи расхохотался.

— Женщинами я называю белых, — гордо возразил он, поуспокоившись и принимая несколько презрительный тон. — А это... так. Я не старик... понимаете?

— Да, — сказал Горн.

Он сидел без мыслей, рассеянный; все окружающее казалось ему острым и кислым, как вкус «сахха». Гупи боролся с отрыжкой, смешно оттопыривая щеки и выкатывая глаза.

Пиво кружило голову, холодной тяжестью наливаясь в желудок. Синий квадрат неба веял грустью. Горн сказал:

— Кружит голову, как Эстер... Вы, кажется, так выразились.

— Вот именно, — кивнул Гупи. — Только Эстер не выпьешь, как эту кружку. Дочь Астиса. Несчастье здешних парней. Когда молодой Дрибб женится, у него будет врагов больше, чем у нас с вами. Сегодня пятница, и она придет. Если увидите, не делайте глупое лицо, как все прочие, это ей не в диковину.

— Я посмотрю, — сказал Горн. — Люди мне еще интересны.

— Вот вы, — Гупи посмотрел сбоку на Горна, — вы мне нравитесь. Но вы все молчите, черт побери! Как вы думаете жить?

Горн медленно допил кружку.

— В лесах много еды, — улыбнулся он, рассматривая переносицу собеседника. — Жить-то я буду.

— А все-таки, — продолжил Гупи. — Возиться с ружьем и местными лихорадками... Клянусь боровом, вы исхудаете за один месяц.

Горн нетерпеливо пожал плечами.

— Это неинтересно, — сказал он, — к тому же мне пора трогаться. Кофе и порох ждут меня, а я засиделся.

— Не торопитесь! — вскричал Гупи, краснея от замешательства при мысли, что Горн так-таки и остался нем. — Разве вам одному веселее?

Горн не успел ответить; Гупи, скорчив любезнейшую гримасу, повернулся к стукнувшей двери с выражением нетерпеливого ожидания.

— Повернитесь, Горн, — сказал он, блестя маленькими глазами. — Пришла кружильница голов, — да ну же, какой вы неповоротливый!

Ироническая улыбка Горна растаяла, и он, с серьезным лицом, с кровью, медленно отхлынувшей к сердцу, рассматривал девушку.

Мысль о красоте даже не пришла ему в голову. Он испытывал тяжелое, болезненное волнение, как раньше, когда музыка дарила его неожиданными мелодиями, после которых хотелось молчать весь день или напиться.

— Гупи, вам нужно подождать, — сказала Эстер, взглядывая на Горна. Посторонний смущал ее, заставляя придавать голосу бессознательный оттенок высокомерия. — У отца нет денег.

Гупи позеленел.

— Шути, моя красавица! — прошипел он, неестественно улыбаясь. — Клади-ка то, что спрятала там... ну!

— Мне шутить некогда. — Эстер подошла к столу и уперлась ладонями о его край. — Нет и нет! Вам нужно подождать с месяц.

И в тот короткий момент, когда Гупи набирал воздуха, чтобы выругаться или закричать, девушка улыбнулась. Это было последней каплей.

— Радуйся! — закричал Гупи, вскакивая и бегая. — Ты смеешься! А даст ли мне твой отец хоть грош, когда я буду околевать с голода? Я роздал тысячи и должен теперь ждать! Клянусь головой бабушки, мне надоело! Я подаю в суд, слышишь, вертушка?

Горн встал.

— Я не хочу мешать, — сказал он.

— Эстер, — заговорил Гупи, — вот человек из страны честных людей, — спроси-ка его, можно ли не держать слова?

Девушка пристально посмотрела в лицо Горна. Смущенный, он повернул голову; эти матовые, черные глаза как будто приближались к нему. Гупи ерошил волосы.

— Прощайте, — сказал Горн, протягивая руку.

— Приходите, — проворчал Гупи, — но вы меня беспокоите. Ах, деньги, деньги! — Он сделал усилие и продолжал: — Надеюсь, вы сделаетесь поразговорчивее. Если бы вы взяли участок!

Горн вышел во двор и, остановившись, прислушался. Сверху доносились возбужденные голоса. Он тронулся, попадая в лужи воды и слякоть, истыканную ногами.

Торопливое дыхание заставило его обернуться. Эстер шла рядом, слегка придерживая короткую полосатую юбку и оживленно размахивая свободной рукой. Горн молчал, подыскивая слова, но она предупредила его.

— Вы тот самый, что высадился неделю назад?

У нее был чистый и медлительный голос, звуки которого, казалось, пронизывали все ее тело, выражая лицом и взглядом то же, что говорит рот.

— Тот самый, — подтвердил Горн. — А вы — дочь Астиса?

— Да. — Эстер поправила косы, сбившиеся под остроконечной туземной шляпой. — Но жить здесь вам не придется.

Горн улыбнулся так, как улыбаются взрослые, слушая умных детей.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

БЕГСТВО В АМЕРИКУ

Потому ли, что первая прочитанная мной, еще пятилетним мальчиком, книга была «Путешествие Гулливера в страну лилипутов» — детское издание Сытина с раскрашенными картинками, или стремление в далекие страны было врожденным, — но только я начал мечтать о жизни приключений с восьми лет.

Я читал бессистемно, безудержно, запоем.

В журналах того времени: «Детское чтение», «Семья и школа», «Семейный отдых» — я читал преимущественно рассказы о путешествиях, плаваниях и охоте.

После убитого на Кавказе денщиками подполковника Гриневского — моего дяди по отцу — в числе прочих вещей отец мой привез три огромных ящика книг, главным образом на французском и польском языках; но было порядочно книг и на русском.

Я рылся в них по целым дням. Мне никто не мешал.

Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием.

Помню Дрэпера, откуда я выудил сведения по алхимическому движению Средних веков. Я мечтал открыть «философский камень», делать золото, натаскал в свой угол аптекарских пузырьков и что-то в них наливал, однако не кипятил.

Я хорошо помню, что специально детские книги меня не удовлетворяли.

В книгах «для взрослых» я с пренебрежением пропускал «разговор», стремясь видеть «действие». Майн Рид, Густав Эмар, Жюль Верн, Луи Жаколио были моим необходимым, насущным чтением. Довольно большая библиотека Вятского земского реального училища, куда отдали меня девяти лет, была причиной моих плохих успехов. Вместо учения уроков я, при первой возможности, валялся в кровать с книгой и куском хлеба; грыз краюху и упивался героической живописной жизнью в тропических странах.

Все это я описываю для того, чтобы читатель видел, какого склада тип отправился впоследствии искать место матроса на пароходе.

По истории, Закону Божию и географии у меня были отметки 5, 5-, 5+, но по предметам, требующим не памяти и воображения, а логики и сообразительности, — двойки и единицы: математика, немецкий и французский языки пали жертвами моего увлечения чтением похож-

дений капитана Гаттераса и Благородного Сердца. В то время как мои сверстники бойко переводили с русского на немецкий такие, например, мудреные вещи: «Получили ли вы яблоко вашего брата, которое подарил ему дедушка моей матери?» — «Нет, я не получил яблока, но я имею собаку и кошку», — я знал только два слова: копф, гунд, эзель и элефант. С французским языком дело было еще хуже.

Задачи, заданные решать дома, почти всегда решал за меня отец, бухгалтер земской городской больницы; иногда за непонятливость мне влетала затрещина. Отец решал задачи с увлечением, засиживаясь над трудной задачей до вечера, но не было случая, чтобы он не дал правильного решения.

Остальные уроки я наспех прочитывал в классе перед началом урока, полагаясь на свою память.

Учителя говорили:

— Гринеvский способный мальчик, память у него прекрасная, но он... озорник, сорванец, шалун.

Действительно, почти не проходило дня, чтобы в мою классную тетрадь не было занесено замечание: «Оставлен без обеда на один час»; этот час тянулся как вечность. Теперь часы летят слишком быстро, и я хотел бы, чтобы они шли так тихо, как шли тогда.

Одетый, с ранцем за спиной, я садился в рекреационной комнате и уныло смотрел на стенные часы с маятником, звучно отбивавшим секунды. Движение стрелок вытягивало из меня жилы.

Смертельно голодный, я начинал искать в партах оставшиеся куски хлеба; иногда находил их, а иногда щелкал зубами в ожидании домашнего наказания, за которым следовал наконец обед.

Дома меня ставили в угол, иногда били.

Между тем я не делал ничего выходящего за пределы обычных проказ мальчишек. Мне просто не везло: если за уроком я пускал бумажную галку — то или учитель замечал мой посыл, или тот ученик, возле которого упала сия галка, встав, услужливо докладывал: «Франц Германович, Гринеvский бросается галками!»

Немец, высокий, элгантный блондин, с надвое расчесанной бородкой, краснел как девушка, сердился и строго говорил: «Гринеvский! Выйдите и станьте к доске».

Или: «Пересядьте на переднюю парту»; «Выйдите из класса вон» — эти кары назначались в зависимости от личности преподавателя.

Если я бежал, например, по коридору, то обязательно наткнулся или на директора, или на классного наставника: опять кара.

Если я играл во время урока в «перышки» (увлекательная игра, род карамбольного бильярда!), мой партнер отдельывался пустяком, а меня, как неисправимого рецидивиста, оставляли без обеда.

Отметка моего поведения была всегда 3. Эта цифра доставляла мне немало слез, особенно когда 3 появлялась как *годовая* отметка поведе-

ния. Из-за нее я был исключен на год и прожил это время, не очень скучая о классе.

Играть я любил больше один, за исключением игры в бабки, в которую вечно проигрывал.

Я выстругивал деревянные мечи, сабли, кинжалы, рубил ими крапиву и лопухи, воображая себя сказочным богатырем, который один поражает целое войско. Я делал луки и стрелы, в самой несовершенной, примитивной форме, из вереса и ивы, с бечевочной тетивой; стрелы же, выструганные из лучины, были с жестяными наконечниками и не летали дальше тридцати шагов.

На дворе я расставлял стоймя поленья шеренгами — и издали поражал их камнями, — в битве с не ведомой никому армией. Из огорода огорода я выдергивал тычины и упражнялся в метании ими, как дротиками. Перед моими глазами, в воображении, вечно были — американский лес, дебри Африки, сибирская тайга. Слова «Ориноко», «Миссисипи», «Суматра» звучали для меня как музыка.

Прочитанное в книгах, будь то самый дешевый вымысел, всегда было для меня томительно желанной действительностью.

Делал я также из пустых солдатских патронов пистолеты, стреляющие порохом и дробью. Я увлекался фейерверками, сам составлял бенгальские огни, мастерил ракеты, колеса, каскады; умел делать цветные бумажные фонари для иллюминации, увлекался переплетным делом, но больше всего я любил строгать что-нибудь перочинным ножом; моими изделиями были шпаги, деревянные лодки, пушки. Картинки для склеивания домиков и зданий во множестве были перепорчены мной, так как, интересуясь множеством вещей, за все хватаясь, ничего не доводя до конца, будучи нетерпелив, страстен и небрежен, я ни в чем не достигал совершенства, всегда мечтами возмещая недостатки своей работы.

Другие мальчики, как я видел, делали то же самое, но у них все это, по-своему, выходило отчетливо, дельно. У меня — никогда.

На десятом году, видя, как меня страстно влечет к охоте, отец купил мне за рубль старенькое шомпольное ружьецо.

Я начал целыми днями пропадать в лесах; не пил, не ел; с утра я уже томился мыслью, «отпустят» или «не отпустят» меня сегодня «стрелять».

Не зная ни обычаев дичной птицы, ни техники, что ли, охоты вообще, да и не стараясь разузнать настоящие места для охоты, я стрелял во все, что видел: в воробьев, галок, певчих птиц, дроздов, рябинников, куликов, кукушек и дятлов.

Всю добычу мою мне дома жарили, и я ее съедал, причем не могу сказать, чтобы мясо галки или дятла чем-нибудь особенно разнилось от кулика или дрозда.

Кроме того, я был запойным удильщиком — исключительно по *шекле*, вертлявой, всем известной рыбке больших рек, падкой на муху; собирал коллекции птичьих яиц, бабочек, жуков и растений.

Всему этому благоприятствовала дикая озерная и лесная природа окрестностей Вятки, где тогда не было еще железной дороги.

По возвращении в лоно реального училища я пробыл в нем всего еще только один учебный год.

Меня погубили: сочинительство и донос.

Еще в подготовительном классе я прославился как сочинитель. В один прекрасный день можно было видеть мальчика, которого рослые парни шестого класса таскают на руках по всему коридору и в каждом классе, от третьего до седьмого, заставляют читать свое произведение.

Это были мои стихи:

Когда я вдруг проголодаюсь,
Бегу к Ивану раньше всех:
Ватрушки там я покупаю,
Как они сладки — эх!

В большую перемену сторож Иван торговал в швейцарской пирожками и ватрушками. Я, собственно, любил пирожки, но слово «пирожки» не укладывалось в смутно чувствуемый мною размер стиха, и я заменил его «ватрушками».

Успех был колоссальный. Всю зиму меня дразнили в классе, говоря: «Что, Гриневский, ватрушки сладки — эх?!»

В первом классе, прочитав где-то, что школьники издавали журнал, я сам составил номер рукописного журнала (забыл, как он назывался), срисовал в него несколько картинок из «Живописного обозрения» и других журналов, сам сочинил какие-то рассказы, стихи — глупости, вероятно, необычайной — и всем показывал.

Отец, тайно от меня, снес журнал директору — полному, добродушному человеку, и вот меня однажды вызвали в директорскую. В присутствии всех учителей директор протянул мне журнал, говоря:

— Вот, Гриневский, вы бы побольше этим занимались, чем шалостями.

Я не знал, куда деваться от гордости, радости и смущения.

Меня дразнили двумя кличками: Грин-блин и Колдун. Последняя кличка произошла потому, что, начитавшись книги Дебароля «Тайны руки», я начал всем предсказывать будущее по линиям ладони.

В общем, меня сверстники не любили; друзей у меня не было. Хорошо относились ко мне директор, сторож Иван и классный наставник Капустин. Его же я и обидел, но это была умственная, литературная задача, разрешенная мной на свою же голову.

В последнюю зиму учения я прочел шуточные стихи Пушкина «Коллекция насекомых» и захотел подражать.

Вышло так (я помню не все):

Инспектор, жирный муравей,
Гордится толщиной своей...
.....

Капустин, тощая козьявка,
Засохшая былинка, травка,
Которую могу я смять,
Но не желаю рук марать.

.....

Вот немец, рыжая оса,
Конечно, — перец, колбаса...

.....

Вот Решетов, могильщик-жук...

Упомянуты, в более или менее обидной форме, были все, за исключением директора: директора я поберег.

Имел же я глупость давать читать эти стихи всякому, кто любопытствовал, что еще такое написал Колдун. Списывать их я не давал, а потому некто Маньковский, поляк, сын пристава, однажды вырвал у меня листок и заявил, что покажет учителю во время урока.

Две недели тянулась злая игра. Маньковский, сидевший рядом со мной, каждый день шептал мне: «Я сейчас покажу!» Я обливался холодным потом, умолял предателя не делать этого, отдать мне листок; многие ученики, возмущенные ежедневным издевательством, просили Маньковского оставить свою затею, но он, самый сильный и злой ученик в классе, был неумолим.

Каждый день повторялось одно и то же:

— Гринеvский, я сейчас покажу...

При этом он делал вид, что хочет поднять руку.

Я похудел, стал мрачен; дома не могли добиться от меня — что со мной.

Решив наконец, что если меня исключат окончательно, то ждут меня побои отца и матери, стыдясь позора быть посмешищем сверстников и наших знакомых (между прочим, чувства ложного стыда, тщеславия, мнительности и жажды «выйти в люди» были очень сильны в глухом городе), я стал собираться в Америку.

Была зима, февраль.

Я продал букинисту одну книгу покойного дяди «Католицизм и наука» за сорок копеек, потому что у меня никогда не было карманных денег. На завтрак мне выдавали две-три копейки, они шли на покупку одного пирожка с мясом. Продав книгу, я тайно купил фунт колбасы, спички, кусок сыра, захватил перочинный ножик. Рано утром, уложив провизию в ранец с книгами, я пошел в училище. На душе у меня было скверно. Предчувствия мои оправдались; когда начался урок немецкого языка, Маньковский, шепнув «сейчас подам», поднял руку и сказал:

— Позвольте, господин учитель, показать вам стихи Гринеvского.

Учитель разрешил.

Класс притих. Маньковского со стороны дергали, щипали, шипели ему: «Не смей, сукин сын, подлец!» — но, аккуратно обдернув блузу, плотный, черный Маньковский вышел из-за парты и подал учителю роковой листок; скромно покраснев и победоносно оглядев всех, доносчик сел.

Преподаватель этого часа дня был немец. Он начал читать с заинтересованным видом, улыбаясь, но вдруг покраснел, потом побледнел.

— Гриневский!

Я встал.

— Это вы писали? Вы пишете пасквили?

— Я... Это не пасквиль.

От испуга я не помнил, что бормотал. Как в дурном сне, я слышал звон слов, упрекающих и громящих меня. Я видел, как гневно-изящно колышется красивый, с двойной бородой, немец, и думал: «Я погиб».

— Выйдите вон и ждите, когда вас позовут в учительскую.

Я вышел плача, не понимая, что происходит.

Коридор был пуст, паркет блестел, за высокими, лакированными дверями классов слышались мерные голоса учителей. Из этого мира я был вычеркнут.

Зазвенел звонок, двери пооткрывались, толпа учеников наполнила коридор, весело шумя и крича; лишь я стоял, как чужой. Классный наставник Решетов привел меня в учительскую комнату. Я любил эту комнату — в ней был прекрасный шестигранный аквариум с золотыми рыбками.

За большим столом, с газетами и стаканами чая, восседал весь синклит.

— Гриневский, — сказал, волнуясь, директор, — вот вы написали пасквиль... Ваше поведение всегда... подумали ли вы о родителях?.. Мы, преподаватели, желаем вам только добра...

Он говорил, а я ревел и повторял:

— Больше не буду!

При общем молчании Решетов начал читать мои стихи. Произошла известная гоголевская сцена последнего акта «Ревизора». Как только чтение касалось одного из осмеянных — он беспомощно улыбался, пожимал плечами и начинал смотреть на меня в упор.

Только инспектор — мрачный пожилой брюнет, типичный чиновник — не был смущен. Он холодно казнил меня блеском своих очков.

Наконец тяжелая сцена кончилась. Мне было велено отправиться домой и заявить, что я временно, впредь до распоряжения, исключен; также сказать отцу, чтобы тот явился к директору.

Почти без мыслей, как в горячке, я вышел из училища и побрел к загородному саду — так назывался полудикий парк, верст пять квадратных объемом, где летом торговал буфет и устраивались фейерверки. Парк примыкал к перелеску. За перелеском была речка; дальше шли поля, деревни и огромный, настоящий лес.

Сев на изгородь у перелеска, я сделал привал: мне предстояло идти в Америку.

Голод взял свое — я съел колбасу, часть хлеба и начал раздумывать о направлении. Совершенно естественным казалось мне, что нигде, никто не остановит реалиста в форме, в ранце, с гербом на фуражке!

Я сидел долго. Стало смеркаться; унылый зимний вечер развертывался вокруг. Ели и снег, ели и снег... Я продрог, ноги замерзли. Калоши были полны снега.

Память подсказывала, что сегодня к обеду яблочный пирог. Как ни подговаривал я раньше кое-кого из учеников бежать в Америку, как ни разрушал воображением всякие трудности этого «простого» дела — теперь смутно почувствовал я истину жизни: необходимость знаний и силы, которых у меня не было.

Когда я пришел домой, было уже темно. Охо-хо! Даже теперь жутко все это вспоминать.

Слезы и гнев матери, гнев и побои отца; крики: «Вон из моего дома!», стояние в углу на коленях, наказание голодом вплоть до десяти часов вечера; каждый день пьяный отец (он сильно пил); вздохи, проповеди о том, что «только свиной тебе пасти», «на старости лет думали, что сын будет подмогой», «что скажут такие-то и такие-то», «тебя мало убить, мерзавца!» — вот так, в этом роде, шло несколько дней.

Наконец буря утихла.

Отец бегал, просил, унижался, ходил к губернатору, везде искал протекции, чтобы меня не исключали.

Училищный совет склонен был смотреть на дело не очень серьезно, с тем чтобы я попросил прощения, но инспектор не согласился.

Меня исключили.

В гимназию меня отказались принять. Город, негласно, выдал мне уже волчий, неписанный паспорт. Слава обо мне росла изо дня в день.

Осенью следующего года я поступил на третье отделение городского училища.

ОХОТНИК И МАТРОС

Может быть, следует упомянуть, что я не посещал начальной школы, так как меня учили писать, читать и считать дома. Отец временно был уволен со службы в земстве, и мы прожили год в уездном городе Слободском; тогда мне было четыре года. Отец служил помощником управляющего пивным заводом Александрова. Мать стала учить меня азбуке; я скоро запомнил все буквы, но никак не мог постигнуть тайну слияния букв в слова.

Однажды отец принес книжку «Гулливер у лилипутов» с картинками, — крупным шрифтом, на плотной бумаге. Он посадил меня на колени, развернул книжку и сказал:

— Саша, давай читать. Это какая буква?

— «М».

— А эта?

— «О».

— Верно. Как же сказать их сразу?

В моем уме вдруг слились звуки этих букв и следующих, и, сам не понимая, как это вышло, я сказал: «море».

Так же сравнительно легко я прочел следующие слова, не помню какие, — и так начал читать.

Арифметика, которой начали меня учить на шестом году, была куда более серьезным делом; однако я научился вычитанию и сложению.

Городское училище было грязноватым двухэтажным каменным домом. Внутри тоже было грязно. Парты изрезаны, исчерчены, стены серы, в трещинах; пол деревянный, простой — не то что паркет и картины реального училища.

Здесь встретил я многих пострадавших реалистов, изгнанных за неуспешность и другие художества. Видеть товарищей по несчастью всегда приятно.

Был тут Володя Скопин, мой троюродный, по матери, брат; рыжий Быстров, удивительно лаконичному сочинению которого: «Мед, конечно, сладок» — я одно время страшно завидовал; тщедушный, дурашливый Демин, еще кое-кто.

Вначале, как падший ангел, я грустил, а затем отсутствие языков, большая свобода и то, что учителя говорили нам «ты», а не стеснительно «вы», начали мне нравиться.

По всем предметам, за исключением Закона Божьего, преподавание вел один учитель, переходя с одними и теми же учениками из класса в класс.

Они, то есть учителя, иногда, правда, перемещались, но система была такая.

В шестом классе (всего было четыре класса, только первые два делились каждый на два отделения) среди учеников были «бородачи», «старики», упорно путешествовавшие по училищу сроком на два года на каждый класс.

Там происходили бои, на которые мы, маленькие, взирали с трепетом, как на битву богов. «Бородачи» дрались рыча, скакали по партам, как кентавры, нанося друг другу сокрушительные удары. Драка вообще была обычным явлением. В реальном драке существовала как исключение и преследовалась очень строго, а здесь на все смотрели сквозь пальцы. Дрался и я несколько раз; в большинстве случаев били, конечно, меня.

Отметка моего поведения продолжала стоять в той норме, которую мне определила судьба еще по реальному училищу, редко поднимаясь до 4. Зато гораздо реже оставляли меня «без обеда».

Преступления всем известные: беготня, возня в коридорах, чтение за уроками романа, подсказывание, разговоры в классе, передача какой-нибудь записки или рассеянность. Напряженность жизни этого заведения была так велика, что даже зимой, сквозь двойные рамы, на улицу вырывался гул, подобный грохоту паровой мельницы. А весной, с открытыми окнами... Лучше всех об этом выразился Деренков, наш инспектор.

— Постыдитесь, — увещевал он галдящую и скачущую ораву, — гимназистки давно уже перестали ходить мимо училища... Еще за

квартал отсюда девочки наспех бормочут: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!» — и бегут в гимназию кружным путем.

Мы не любили гимназистов за их чопорность, щеголеватость и строгую форму, кричали им: «Вареная говядина!» (В. Г. — Вятская гимназия — литеры на пряжке ремней), реалистам кричали: «Александровский вятский разбитый урыльник!» (А. В. Р. У. — литеры на пряжках), но к слову «гимназистка» чувствовали тайную, неутоленную нежность, даже почтение.

Деренков ушел. Помедлив полчаса, гвалт продолжался до конца дня.

С переходом на четвертое отделение мои мечты о жизни начали определяться в сторону одиночества и, как прежде, — путешествий, но уже в виде определенного желанья морской службы.

Моя мать скончалась от чахотки тридцати семи лет; мне было тогда тринадцать лет.

Отец женился вторично, взяв за вдовой псаломщика ее сына от первого мужа, девятилетнего Павла. Мои сестры подросли: старшая училась в гимназии, младшая — в начальной земской школе. У мачехи родился ребенок.

Я не знал нормального детства. Меня безумно, исключительно баловали только до восьми лет, дальше стало хуже и пошло все хуже.

Я испытал горечь побоев, порки, стояния на коленях. Меня, в минуты раздражения, за своеволие и неудачное учение звали «свинопасом», «золоторотцем», прочили мне жизнь, полную пресмыкания у людей удачливых, преуспевающих.

Уже больная, измученная домашней работой, мать со странным удовольствием дразнила меня песенкой:

Ветерком пальто подбито,
И в кармане — ни гроша,
И в неволе —
Поневоле —
Затанцуешь антраша!
Вот он, маменькин сыночек,
Шалопай — зовут его;
Словно комнатный щеночек, —
Вот занятие для него!

Философствуй тут как знаешь,
Иль, как хочешь, рассуждай, —
А в неволе —
Поневоле —
Как собака, прозябай!

Я мучился, слыша это, потому что песня относилась ко мне, предрека мое будущее. Насколько я был чувствителен, видно хотя бы из того, что, совсем маленький, я заливался горчайшими слезами, когда отец, в шутку, мне говорил (не знаю, откуда это):

И хвостом она махнула
И сказала: не забудь!

Я ничего не понимал, но ревел.

Точно так же, довольно было показать мне палец, сказав: «Кап, кап!», как начинали капать мои слезы, и я тоже ревел.

Жалованье отца продолжало оставаться прежним, число детей увеличилось, мать болела, отец сильно и часто пил, долги росли; все вместе взятое создавало тяжелую и безобразную жизнь. Среди убогой обстановки, без сколько-нибудь правильного руководства, я рос при жизни матери; с ее смертью пошло еще хуже... Однако довольно вспоминать неприятное. У меня почти не было приятелей, за исключением Назарьева и Попова, о которых, в особенности о Назарьеве, речь будет впереди; дома были нелады, охоту я страстно любил, а потому каждый год, после Петрова дня — 29 июня, — начинал я пропадать с ружьем по лесам и рекам.

К тому времени, под влиянием Купера, Э. По, Дефо и жюль-верновского «80 тысяч верст под водой», у меня начал складываться идеал одинокой жизни в лесу, жизни охотника. Правда, в двенадцать лет я знал русских классиков до Решетникова включительно, но указанные выше авторы были сильнее не только русской, но и другой, классической европейской литературы.

Я хаживал с ружьем далеко, на озера и в лес, и часто ночевал в лесу, у костра. В охоте мне нравился элемент игры, случайности; поэтому я не делал попытки завести собаку.

Одно время у меня были старые охотничьи сапоги, купленные мне отцом; когда они сносились, я, придя к болоту, снимал свои обыкновенные сапоги, вешал их через плечо, засучивал штаны до колен, так и хожу — босиком.

По-прежнему добычей моей были кулики разных пород: черныши, перевозчики, турухтаны, кроншнепы; изредка — водяные курочки, утки.

Стрелять влет я еще не умел. Старое шомпольное ружье — одностволка, стоимостью три рубля (прежнее разорвалось, едва не убив меня), самым способом заряжания мешало стрелять так часто и скоро, как хотелось бы. Но не только добыча привлекала меня.

Мне нравилось идти одному по диким местам, где я хочу, со своими мыслями, садиться, где хочу, есть и пить, когда и как хочется.

Я любил шум леса, запах мха и травы, пестроту цветов, волнующую охотника заросль болот, треск крыльев дикой птицы, выстрелы, стелющийся пороховой дым; любил искать и неожиданно находить.

Множество раз я строил, мысленно, дикий дом из бревен, с очагом и звериными шкурами на стенах, с книжной полкой в углу; под потолком были развешаны сети; в кладовой висели медвежьи окорока, мешки с «пеммиканом», маисом и кофе. Сжимая в руках ружье с взве-

денным курком, я протискивался среди густых ветвей чащи, представляя, что меня ждет засада или погоня.

В виде летнего отдыха отца посылали иногда на большой Сенной остров, от города верстах в трех; там был больничный земский покос. Покос продолжался около недели; косили тихие помешанные или испытываемые из павильонов больницы. Я и отец жили тогда в хорошей палатке, с костром, чайником; спали на свежем сене и удили рыбу. Кроме того, я ходил дальше, вверх по реке, верст за семь, где были озера в ивняке, и стрелял уток. Уток мы варили охотничьим способом, в гречневой каше. Их я приносил редко. Самой главной и обильной моей добычей, осенью, когда на полях оставались копны и жнитво, были голуби. Тысячными стаями слетались они из города и деревень на поля, подпускали близко, и от одного выстрела, бывало, ложилось сразу несколько штук. Жареные голуби жестки, поэтому я варил их с картофелем и луком; хорошее получалось кушанье.

У первого моего ружья был очень тугой курок, сильно разбивавший капсюль, а надеть на расшлепанный капсюль пистон являлось задачей. Он еле держался и иногда сваливался, упраздняя выстрел, или давал осечку. У второго ружья курок был слабый, что тоже вызывало осечки.

Если на охоте у меня не хватало пистонов, я, мало стесняясь этим, прицеливался, держа ружье одной рукой у плеча, а другой поднося к капсюлю горящую спичку.

Предоставляю судить специалистам, насколько такой способ стрельбы может быть успешен, так как дичь имела довольно времени надумать — стоит ли ей ждать, пока огонь накалит капсюль.

Несмотря на мою действительную страсть к охоте, у меня никогда не было должной заботы и терпения снарядиться как следует. Я таскал порох в аптекарской склянке, отсыпая его на ладонь при зарядании — на глаз, без мерки; дробь лежала в кармане, часто один и тот же номер на всякую дичь — например, крупный, № 5, шел и по кулику и по воробыной стае или, наоборот, мелкий, как мак, № 16 летел в утку, только обжигая ее, но не сваливая.

Когда плохо сделанный деревянный шомпол ломался, я срезал длинную ветку и, очистив ее от сучков, гнал в ствол, с трудом вытаскивая обратно.

Вместо войлочного пыжа или кудельного я очень часто забивал заряд комком бумаги.

Неудивительно, что добычи у меня было мало при таком отношении к делу.

Впоследствии, в Архангельской губернии, когда я был там в ссылке, я охотился лучше, с настоящими припасами и патронным ружьем, но небрежность и торопливость сказывались и там.

СОДЕРЖАНИЕ

Алые паруса. <i>Повесть-феерия</i>	5
Блистающий мир. <i>Роман</i>	56
Золотая цепь. <i>Роман</i>	176
Сокровище африканских гор. <i>Роман</i>	275
Бегущая по волнам. <i>Роман</i>	374
Джесси и Моргиана. <i>Роман</i>	517
Дорога никуда. <i>Роман</i>	639
Колония Ланфиер. <i>Повесть</i>	819
Приключения Гинча. <i>Повесть</i>	861
<i>Автобиографическая повесть</i>	912